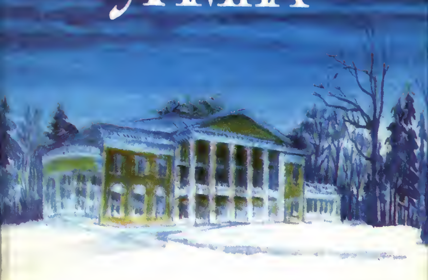
Виктор Темпугов

УПРЯМАЯ ЛАМПА





Виктор Тельпугов

УПРЯМАЯ ЛАМПА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Москва
·Советская
Россия·
1988

Р2
Т31

Художник Б. Н. Юдкин

Тельпугов В. П.

Т31 Упрямая лампа: Повести и рассказы/Худож. Б. Н. Юдкин.— М.: Сов. Россия, 1988.—288 с., ил.

Драгоценны дни и часы жизни В. И. Ленина — его мысли, поступки, его отношение к рабочим, солдатам, крестьянам, детям, ко всем, с кем был повседневно связан. Об этом — рассказы В. Тельпугова, лучшие из которых входят в золотой фонд Ленинианы.

В книгу включен также ряд избранных коротких повестей писателя, раскрывающих тему ратного и трудового подвига советского человека («Вкус арбуза», «Дыхание костра»).

Т $\frac{4803010102-375}{М-105(03)88}$ 245—88 Р2

ISBN 5—268—00657—6



ТЕ ДНИ И НОЧИ, ТЕ РАССВЕТЫ...

Н. М. Лисогорскому

Людей, встречавшихся с Лениным, работавших с ним, становилось все меньше — время неторопливо, но верно делало свое дело. И все же кое-кого удалось мне застать. Особенно один старик запомнился — живой свидетель истории. И хотя многое

из того, что связано с Лениным, я давно и хорошо знал, мне было просто необходимо услышать непосредственного участника великих событий. А тот, почувствовав это, говорил сосредоточенно, стараясь не упустить чего-то важного, может быть самого важного. Постепенно действие переносилось из Москвы в Питер, потом еще дальше — за кордон. Неожиданно снова возвращалось в Москву.

Жаль, что записать все рассказанное мне собрался совсем недавно. Кое-что, конечно, потеряно, но многое помню почти дословно.

Начну с того, как старик однажды фотографировал Ленина.

...Это было во время VI съезда РСДРП(б), проходившего летом 1917 года в Петрограде. Ленин тогда, скрываясь от шпиков, покинул свою квартиру, находившуюся на Широкой улице, перешел на нелегальное положение. Временное правительство неистовствовало. Не было конца обыскам, арестам, убийствам. Товарищи по партии беспокоились за судьбу Ленина — угроза нависла и над ним. С облегчением вздохнули только тогда, когда узнали, что Ильич в надежном, безопасном месте.

— Я, конечно, понятия не имел, где находился Владимир Ильич,— объяснил мне старик.— Но выпало на мою долю поручение: сфотографировать Ленина для важного документа. Вы сами, дескать, как-то проговорились, что немного соображаете в этом деле.

В тот же вечер, перед началом очередного заседания съезда, фотограф-любитель отправился домой за аппаратом, зарядил его, а через час, самое

большее полтора, уже был на вокзале в Новой Деревне, где его прямо у поезда ждал сопровождающий с билетами.

— Мы покатили в сторону Сестрорецка,— продолжал старик.— Всю дорогу ехали молча, делали вид, что друг друга не знаем. Я читал газету, а сам все посматривал из-за нее на попутчика. На одной станциюшке сошли.— Старик улыбнулся:— Теперь-то весь мир знает эту «станциюшку»! Обогнув водокачку, долго спускались в темноте по крутой тропке, отыскивая нужный дом.— Сказав это, старик подчеркнул: — Домишко ныне тоже известный! Нашли, постучали в закрытую ставню. Ответа не было. Еще постучали, сильней. В конце концов скрипнула дверь, к нам вышел рослый и, судя по голосу, молодой человек. Втроем зашагали дальше. Только когда луна выглянула, я разглядел, что под мышкой у парня весла. Лодка, возле которой мы через некоторое время остановились, оказалась крохотной плоскодонной посудиной и никак не желала вместить всех троих. Разгорелся спор: кому ехать, кому оставаться? Я, конечно, был вне конкуренции — у меня аппарат. Человек, с которым я прибыл, сказал, что имеет специальное поручение, которое никто другой выполнить не может. И пошло!

— А лодочник? — перебил я собеседника.— Тот, наверно, свои права стал качать?

— Еще бы!— воскликнул старик.— Без меня никто, говорит, не уедет.

— Какой же выход в конце концов нашли? — снова перебил я.— Кто остался?

— Все поехали! — старик закашлялся, посмотрел на меня с удивлением: неужели, мол, не понимаешь простых вещей? — Кое-как разместились, конечно. Хлебали, правда, всю дорогу

то одним, то другим бортом. А чапать далековато пришлось. Помню, никак не мог дождаться, когда же наконец приедем. Ночь была тихая и, наверно, теплая, но меня всю дорогу трясло. И промок, и волновался, смогу ли, как должно, выполнить поручение? Колотил озноб и проводника. Он все поторапливал: «Скорей, быстрей!» Только лодочнику не было зябко — один на веслах, и никому не желал их уступать. Добрались, однако, затемно. Нас, оказывается, давно ждали. Причаливать помогали незнакомые мне люди. Делали они это ловко, дружно, словно всю жизнь только тем и занимались, что причаливали лодки по ночам...

Старик задумался, закурил и продолжил свой рассказ только тогда, когда огонек папиросы остановился у самого мундштука.

— Ну вот так мы и оказались на месте. Лодчонку закрепили, пошли по скошенной траве. Трава была мокрая от росы, опутывала ноги, не давала идти. А я радовался: такая роса бывает только перед рассветом, значит, скоро можно будет снимать. «Но где же Ленин? — думал я.— Надо немедленно отыскать его и обо всем договориться». Однако спрашивать раньше времени ни у кого не стал. Я все же тут не самый главный, подожду, решил, что будет дальше. Идти пришлось долго. Окоченели, пока оказались у шалаша.

Знакомая мне улыбка снова шевельнула губы рассказчика:

— Теперь-то весь мир знает этот шалашик! Кое-как вползли туда, чтобы обогреться. Тут в одном из встречавших нас людей я узнал Владимира Ильича. Голос выдал его. И еще спокойный такой, шутливый тон. Первым делом извинился: «Вы уж не взыщите, пожалуйста, что мягких кресел не припасли и люстр не повесили». Потом стал под-

робно расспрашивать о положении в Петрограде, о том, как идет съезд. Сообщением нашим остался доволен. Но когда узнал, что арестован Луначарский, помрачнел, посуровел. После долгого молчания сказал: «Предсмертные судороги уходящей России. Рассвет недалек!» Потом опять помолчал и добавил: «А ведь и в самом деле заря, товарищи, смотрите!» С этими словами мы вслед за ним выбрались из шалаша и увидели блестки начинавшегося восхода.

— Так и снимали Ленина при свете первой зари? — спросил я старика.— Символично!

Вопрос этот был, как я потом понял, наивным, говорил о том, насколько мало я знаком с фотографией. Но собеседник смеяться надо мною не стал, просто объяснил, что нужного освещения пришлось дожидаться еще не меньше часа.

— Все это время,— продолжал старик,— Владимир Ильич поглядывал на восток, приговаривая: «Удивительные в этих краях восходы! Они всегда и везде хороши, конечно. Ничем в жизни так не любовался, как восходами. И сибирскими, и в Альпах, и в Татрах, и, конечно, на Волге... Но тут, под Питером, они просто очаровательны, черт возьми! Это же не солнце светит — пламя бушует перед нами! Настоящее пламя, как в паровозной топке!»

— Именно так и сказал? — переспросил я.

— Именно. Как в топке! Налюбовавшись вдосталь, повернулся ко мне. «Ну а теперь,— говорит,— снимайте». И я приступил к делу, для которого прибыл. Условия — самые неподходящие. У меня — зеркальная камера, которая работала только с моментальным затвором. Наименьшая скорость — одна десятая секунды. Штатива нет.

Свет хоть и яркий уже, но все еще недостаточный. А медлить больше нельзя — с посторонних глаз пора убираться. Если вы меня спросите, как я в этих условиях все-таки ухитрился сделать снимок,— отвечу: не знаю, не помню. Помню только одно: Владимир Ильич, видя, как я волнуюсь, все время меня успокаивал и подбадривал: «Все будет в полном порядке, уверяю вас. Одна десятая секунды, говорите? Плохо это или хорошо?» — «Для такого освещения плохо, Владимир Ильич. Слишком мала выдержка». А он: «У нас сейчас не только часы, все минуты и секунды на особом учете. Вот это, прошу вас, в Питере вручите товарищам, и, чем скорее, тем лучше». В руках у меня оказался маленький, аккуратный сверток. «Тут статья для «Правды»,— пояснил Владимир Ильич.— Хорошо бы на крыльях доставить!» От шутки этой я невольно успокоился. И мы двинулись в обратный путь. В той же лодке. Опять втроем. Опять черпая воду то одним, то другим бортом. И все опоздать боялись.

Уж не знаю, действительно ли успокоился старик тогда, но сегодня волновался, хотя вида не показывал, да и по возрасту не положены ему были лишние эмоции. Только тут уж ничего не поделаешь — все заново переживал человек. Всю историю. Незаметно и я вслед за ним полностью оказался во власти событий тех дней. Мне во что бы то ни стало захотелось вдруг, чтоб получился и ни в коем случае не опоздал снимок, чтоб непременно вовремя ленинская статья прибыла в Петроград. Я так и сыпал вопросами:

— Успели к сроку? Не потопили статью? А снимок как? Получился ли?

Ответы между тем незаметно становились все лаконичнее:

— Статья была напечатана в следующем номере «Правды». А снимок? Хоть и вышел, откровенно сказать, неважнецким, но теперь его знает весь мир. Ты его тоже видел. Ильич на нем — в кепке, в парике, без усов, на самого себя не похож. Но как раз такой и требовался тогда Ленину для документа.

Старик умолк, достал следующую папиросу, но закуривать не стал, повертел в руках, положил обратно в пачку, потом неожиданно спросил:

— Еще вопросы имеются? Или старый молодого заговорил совсем?

И я вдруг понял — устал человек, а сознаться не хочет. На лбу его, на иссеченных временем щеках и где-то под самыми седыми висками засверкали едва заметные капельки пота.

Я сказал, что могу слушать еще сколько угодно, что мне интересно буквально все — и как поездом они тогда доехали, и как в городе все обошлось, и многое другое. Но уже и за рассказанное очень благодарен, конечно.

— А что поездом? — немного даже как будто удивился старик.— Поездом проще всего: смешались с дачниками, и будь здоров! Хуже было на вокзале в Новой Деревне — ждала нас там свора шпиков. Еле-еле ушли. Когда-нибудь доложу тебе как опередили и провели эту публику. Но что провели и опередили — факт! Сколько лет прошло, а я до сих пор в толк взять не могу, какие силы нас тогда несли, какие крылья.

Через несколько дней мы опять сидели со стариком вдвоем в его маленькой, с низким потолком, комнате на Арбате, чем-то напоминавшей тот шалаш.

Старик рассказывал, я слушал, запоминал.

Все, явственней, все ближе вставали передо мной те дни и ночи, те рассветы.





МАРСЕЛЬЕЗА

Аресты, тюрьмы, ссылки... Когда просматриваешь жизнь Ленина день за днем, поражаешься тому, как много он, гонимый и преследуемый царизмом, даже в сложнейших обстоятельствах успевал делать для революции. В сибирском селе Шушен-

ском Владимир Ильич прожил три года. Но как прожил!

Крестьянин, с которым он там познакомился, в самом начале сокрушенно сказал ссыльному: «Нет места глуше Шуши. За Шушей — Саяны, за Саянами — край света». Ульянов спорить не стал. Дорога сюда действительно была одной из наиболее длинных его дорог, но не на этом была сейчас сосредоточена мысль Ильича. Он посмотрел на собеседника пристально и ответил так: «Когда-нибудь мы с вами преобразим этот край».

Крестьянин мрачно покачал головой. Ильич повторил: «Преобразим, смею уверить вас. Есть у меня такая мечта». И, как бы желая ускорить осуществление своей мечты, принялся за работу. За какими только занятиями его не видели! Он копал грядки, сажал деревья, пилил и колол дрова, косил траву, пешком ходил по окрестным деревням, встречался с людьми и каждого непременно выслушивал, каждому старался хоть чем-то помочь, что-то посоветовать. А ночи напролет писал, писал и писал. За три года из-под его пера вышло около тридцати работ, в том числе одна из самых знаменитых — «Задачи русских социал-демократов». Рукопись ее была нелегально переправлена с одного края света на другой — в Швейцарию, там издана на русском языке и вернулась в Россию уже брошюрой, зовущей на борьбу за свободу и счастье.

Так было всегда, с самого начала. Какие бы гонения ни обрушивались на Ленина, они только еще больше закаляли его для новых боев. Первый раз арестовали Ульянова, когда он был еще студентом Казанского университета. Володе в ту пору едва исполнилось семнадцать лет, а выглядел он еще более юным.

Время было суровое. То из одного, то из другого конца России приходили тревожные вести о народных волнениях и о расправах с непокорными. Недавно за покушение на царя был повешен старший брат Владимира — Александр.

Царское правительство делало отчаянные попытки подавить революционное движение. Ни днем, ни ночью не знали покоя министры, начиная с Толстого, кончая Деляновым.

Теперь, десятилетия спустя, кто-нибудь может удивиться: ну, с Толстым все ясно — он был министром внутренних дел, ему сам бог повелевал вести расправу со «смутьянами». А Делянов-то? При чем тут сугубо цивильный Делянов? Он был министром народного просвещения, а «каша» часто заваривалась в его епархии — в стенах университетов, среди наиболее сознательной молодежи, решительно вставшей на защиту народных прав.

Чего только не придумывали царские слуги, чтобы застращать студентов! Был выпущен даже специальный университетский устав, составленный из таких слов, как «воспрещено», «не дозволено». Строжайше возбраняется то, категорически недопустимо это... И уж конечно же безоговорочно были объявлены противу закону всякие сходки, собрания, какие бы то ни было союзы, общества, землячества. Из библиотек, и в первую очередь, разумеется, из студенческих, в спешном порядке изымалось все, что могло, по их мнению, посеять смуту.

Это только еще больше возмущало молодежь. Несмотря на непрерывную слежку, постоянные запугивания, студенты продолжали то тут, то там собираться на митинги, организовывали демонстрации. С одной из таких демонст-

раций на площади у Казанского собора в Петербурге жестоко расправились, но и это не помогло.

Силы сопротивления царизму росли с каждым днем.

По всей стране прокатилась весть о том, что в «Крестах» покончила жизнь самоубийством студентка, подвергшаяся унижениям со стороны жандармов. Поднялась новая волна протестов. Агенты охранки шныряли по заводам, по учебным заведениям, отыскивая зачинщиков, запугивая остальных.

Ходили слухи о том, что уже давно составлены и пересоставлены списки «крамольных элементов», что вот-вот начнутся массовые расправы. Слухи скоро стали подтверждаться.

В ночь с 4 на 5 декабря 1887 года была схвачена группа студентов Казанского университета. В их числе — Владимир Ульянов. Он в жандармском списке стоял одним из первых. «За участие в сходке!» — буркнул ему полицейский при аресте. Впрочем, сходка действительно состоялась, никто из ее участников этого и не отрицал. Что касается Ульянова, то ему предъявили обвинение еще и в том, что он вошел в симбирское землячество,— словом, дважды нарушил устав, преступил закон.

Так Ульянов и его друзья по университету попали за тюремную решетку. Сперва сидели по одиночкам и ничего не знали друг о друге, потом в одну из ночей все неожиданно очутились в общей камере, и приунывшие было парни воспрянули духом.

— Нас, оказывается, вон сколько, братцы! — воскликнул кто-то из студентов, когда в узкое, как бойница, окно просочился первый утренний свет.

Кто-то начал считать, тихо называя фамилии.

— Не трудись,— на полуслове остановил его прильнувший к решетке Ульянов,— я сосчитал уже. Сто десять. У господ министров слова не расходятся с делом.

Парень был поражен до глубины души:

— Сто десять? Ты не ошибся?..

— Проверь, если хочешь, но я пересчитал дважды,— ответил Ульянов.

— Но нас же всего восемьсот во всем университете! — не унимался парень.— Это же черт знает что такое!

Ульянов на мгновение оторвался от окна, посмотрел на говорившего.

— Вот тут я вполне согласен с тобой: черт знает! Но не он один, я уверен.

Парень шутки не понял. Заметив это, Ульянов пояснил свою мысль:

— Скоро, очень скоро не только черт — все в России узнают, сколько нас тут. А когда узна́ют, не поздоровится господам министрам. Я верю в это, а вы? — он обратился со своим вопросом сразу ко всем, находившимся в камере.

— За что я люблю Ульянова, так это за оптимизм! — послышалось из дальнего угла.— Голодные сидим, продрогли, как собаки, от всего мира отрезаны, а он духом не падает и даже...

— И вам не советую!— перебил его Володя.— Вот из этой дыры Волги не видно, даже самого краешка. Только серые камни серого двора крепости. Но я вцепился в ржавую эту решетку и не могу оторваться. Почему? Потому что шум волжской волны слышу. Рядом, совсем рядом Волга-ма-

тушка! А над ней не только стон раздается, прислушайтесь...

Все, кто находился в камере, смотрели на Ульянова и, судя по всему, хорошо его понимали. Парень, который поначалу не уловил Володиной шутки относительно черта, даже воскликнул:

— А ты молодец, Ульянов, честное слово, молодец!

— Это не я молодец, это мы молодцы,— в тон ему ответил Ульянов.— Честное слово, молодцы! Ни один не струсил, не раскис.

Постепенно в разговор втягивалось все большее число заключенных. Настроение изголодавшихся, промерзших, утомленных людей подымалось. То из одного, то из другого конца слышались задорные шутки. Кто-то попробовал даже затянуть «Марсельезу». Запевалу поддержали, и звуки любимой студентами песни медленно, исподволь стали заполнять все пространство большой камеры. Это привело в ярость стражника, принявшегося отчаянно колотить снаружи железом о железо — не то прикладом винтовки, не то подкованным каблуком сапога.

— Прекратить! Отставить! Я вызову господина начальника...

Вызывать, однако, никого не пришлось — песня переполошила всю тюрьму, и через несколько минут, казалось, весь гарнизон ее уже барабанил в дверь, выкрикивая проклятия и угрозы.

«Марсельеза» между тем не утихала. Наоборот, чем больше бесновались тюремщики, тем громче клокотала песня. Скоро подхватили ее и в соседних камерах. Из каменного мешка она стремилась вырваться на простор.

Почувствовав свое бессилие, тюремщики вынуждены были умолкнуть.

Поняв, что одержали пусть маленькую, но победу, постепенно утихли и студенты. На смену песне пришли разговоры о том, как сложится дальше их судьба.

Ясно было одно: посадили не затем, чтобы скоро выпустить. Каждый из них хорошо знал: тюрьма в крепости возле башни Сумбеки — пересыльная. Вот их, стало быть, и «перешлют» куда-нибудь подальше, чтобы это место для других освободить, для тех, кого схватят в Питере, в Москве и в других городах. Тюрьмы на Руси, говорят, переполнены...

Ульянов в этом разговоре уже не участвовал. Снова приник к узкой прорези окна и слушал, слушал Волгу, словно хотел уловить все всплески ее, все шорохи.

Так прошло много часов, прошел длинный день, наступил вечер, надвинулась ночь. Стараясь отвлечься от мрачных мыслей, заключенные несколько раз затевали игру, в ходе которой каждый должен был ответить на вопрос о самой заветной мечте в своей жизни. Разные давались ответы, разные у людей были мечтания. Молодежь есть молодежь — серьезные слова часто перемежались шутливыми. Кто-то даже сказал, что мечтает поужинать, причем не откладывая надолго, поскольку, дескать, время уже давно подошло. Ему возразили, что смешно, мол, ужинать, когда не было еще и обеда. Кто-то добавил:

— И завтрака тоже...

Эта последняя шутка развеселила всех. Впрочем, если быть точным, всех, кроме Ульянова. Он по-прежнему сосредоточенно, молча стоял у окна,

крепко зажав в руках ржавые толстые прутья решетки. Его окликнули:

— Твоя очередь, Володя. Или ты не участвуешь?

Он обернулся, лицо его было совершенно серьезным.

— Почему же, участвую. Обязательно даже участвую. Во-первых, ближайшая моя мечта сбывается как раз в этот миг. В городе подхватили нашу «Марсельезу». Честное слово, подхватили! Слушайте, слушайте!

Все обитатели камеры кинулись к тюремному окну. Ульянов отодвинулся, уступая место другим. Когда установилась тишина, до слуха узников в самом деле донеслись звуки недавно спетой ими «Марсельезы». Далекие, еле различимые и в то же время отчетливые.

Ульянов торжествующе обвел взглядом товарищей.

— А? Эстафета подхвачена! — воскликнул он. — Мечтаю, чтоб так было и впредь. Ради этого готов на любые жертвы. А ужин они нам принесут, не сомневаюсь. Непременно принесут, мы их к этому просто вынудим. Пусть только попробуют не принести! — и он вдруг снова насторожился: — Вы слышите?! Нет, вы только послушайте: волокут, волокут! Что я вам говорил?..

За дверями камеры, в глубоком чреве коридора в самом деле можно было уловить скрежет о каменный пол цинкового бачка, который надзиратели тащили к камере. Скрежет приближался, нарастал. Пока гремел ключами стражник, Ульянов успел сказать еще несколько слов. Это была вторая часть его ответа:

— В моей судьбе все ясней ясного. В революцию иду. Куда же еще?

В камеру через распахнутые настежь двери, клубясь паром, въезжал бачок с баландой.

— Конечно, не ахти какой харч, и на сто десять ртов маловато,— грустно сказал Ульянов. Помолчал и чуть веселее добавил: — Вот закончим трапезу, будем вместе думать, как жить дальше. Я недавно заметил удивительную вещь: по ночам, перед самым рассветом, оказывается, лучше думается. Намного лучше и намного глубже. Особенно о будущем.





ДЕНЬ ОТДЫХА

Сегодня муж показался ей особенно уставшим, бледным и даже рассеянным.

— Тебе надо отдохнуть, Володя. Давно пора хоть один день как следует отдохнуть.

— Откуда ты взяла, Наденька? Я чувствую себя превосходно.

— Разве ты признаешься! Но глаза тебя выдают. Укатить бы нам с тобой в воскресенье за город на велосипедах! Пожалуйста, отложи все дела и накачай шины покрепче. Знаешь, по пути в Лонжюмо есть такая ромашковая поляна...

— Да, да, там от ромашек просто в глазах рябит. На лужайке, перед самым лесом.

— Заметил и ни разу не остановился! — Надежда Константиновна укоризненно покачала головой.

— Все некогда...

Утро воскресного дня застало двух велосипедистов в дороге. Они ехали быстро, обгоняя друг друга, радуясь синему небу, солнцу, пению птиц.

— Наденька, умница! Давно бы тебе придумать такое! Давно бы...

Ветер свистел в ушах, Надежда Константиновна слышала не каждое слово мужа, но по всему было видно — угодила.

Когда вдалеке запестрела желто-белая ромашковая поляна, путники еще дружней налегли на педали, и скоро колеса повалившихся в траву велосипедистов завертелись в воздухе.

— Ромашки... чудо какое-то! — Владимир Ильич нагнулся, сорвал один из цветков, поднес к лицу, зажмурился: — Совсем как на Волге...

— И даже нос у тебя стал желтым.

— Правда? И у тебя тоже!

Они рассмеялись, счастливые, переполненные радостью свидания с уголком, напомнившим родину.

— А ты знаешь, на что она похожа? — спросил вдруг Владимир Ильич.

— Кто — она?

— Ромашка. Берегись, сейчас вся торжественность момента полетит вверх ногами. Из меня никогда бы не вышел поэт. Ромашка — родная сестра... яичницы-глазуньи, ты не находишь?

Надежда Константиновна вздрогнула.

— Я нахожу прежде всего, что никуда не годится твоя жена: у тебя же крошки во рту не было со вчерашнего вечера! Если б не мама, мы оба с тобой умерли бы сейчас с голоду.

Она побежала к велосипедам, отстегнула от багажника одного из них белый, аккуратно перевязанный тесьмою сверток.

— Я уверена, тут есть что-нибудь вкусное.

Надежда Константиновна расстелила на траве салфетку, принялась распаковывать сверток. Владимир Ильич, присев на корточки, сорвал еще десяток ромашек.

— Это тебе, Наденька. А это Елизавете Васильевне — ее любимые цветы.

— Спасибо! А еще говоришь, что не годишься в поэты. Самые красивые выбрал, самые стройные.

— Самые разглазастые!

Они опять рассмеялись. Но Надежда Константиновна с огорчением заметила, что состояние обычной озабоченности не покидает мужа ни на миг.

Пока длилось их маленькое пиршество, Владимир Ильич несколько раз украдкой вынимал из бокового кармана небольшой блокнот, что-то торопливо в него записывал и тут же прятал блокнот обратно.

Надежда Константиновна сперва решила не обращать на это внимания. Но вот на солнце сверкнула клеенчатой обложкой хорошо знакомая ей, вся в бесчисленных закладках тетрадь. Еще

мгновение — и по ее страницам тоже, но уже совершенно открыто забегал остро отточенный карандаш Владимира Ильича.

— Володя! Это нечестно. Сначала блокнот, потом целый гроссбух. Того гляди, помчишься в Париж, да еще проездом через Лион или Цюрих...

— Ты и не представляешь, до какой степени права! Заехать бы в Лонжюмо — тут рукой подать. Очень нужно...

Надежда Константиновна решительно отобрала у мужа карандаш и снова направилась к велосипедам.

Не было ее всего несколько секунд, но, когда вернулась, по строчкам клеенчатой тетради уже поскрипывала обуглившимся концом спичка, крепко зажатая в пальцах Владимира Ильича.

— И это называется отдыхом? Ну что мне с тобой делать? Жаловаться?

— Если другого выхода нет... Вопрос только — кому? Властям? Нынешним?

Надежда Константиновна не настроена была больше шутить. Складка на ее переносице стала глубже и строже.

— А вот сердиться не нужно. Ссориться по таким пустякам!

— Твое здоровье — пустяки?

— Повторяю: давно не чувствовал себя так хорошо.

— Нет, нет, сегодня обо всем расскажу маме. Если ты хоть немного ее уважаешь...

— Маме? Это уже серьезно. Сейчас же отправимся в лес, и с этой минуты — все соловьи наши.

Они пошли вперед, внимая лесной тишине, сразу плотно обступившей их со всех сторон. Однако

тревожная, неотступная мысль все время возвращала их обоих домой, в Россию.

— Как там? Что там? Ты знаешь, Наденька, мне нужно бы попасть туда хоть на несколько дней, хоть на несколько часов. Столько дел накопилось — неотложных, чертовски срочных! Да и своими глазами увидеть бы, что теперь в Москве, в Питере...

— Знаю. А тут еще информация в последнее время стала слишком скупой. И все медленней идет, еле тащится. Я вчера говорила с Верой, просила ее что-нибудь предпринять. Она обещала.

— Раз Вера обещала — сделает. Все возможное и невозможное... Когда у вас следующая встреча с ней? Завтра?

— Как всегда, в наш час: ровно в пять — и вдруг Надежда Константиновна, быстро взглянув на мужа и отведя взгляд, спросила:— А что, если не завтра, а... сегодня?

— Сегодня? Как сегодня?.. Стой, стой, стой! Это что же получается. Для одного такой сверхотдых, что даже в тетрадку заглянуть нельзя, для другого...

— Не сердись, прошу тебя, ты ведь знаешь — надо.

— Надо. Действительно надо... Так и быть, прощается. А то ведь я тоже пожаловаться могу.

— Маме?

— Разумеется. У нас с Елизаветой Васильевной полное взаимопонимание, полнейшее.

— Вижу и очень радуюсь этому. Она души в тебе не чает.

— Таких людей следует и беречь. Добрая, неугомонная... Руки у нее золотые! К сегодняшнему утру так заштопала и отутюжила мне жи-

лет — я не узнал его. Хоть на дипломатический прием надевай... Да, сколько еще осталось до пяти? Успеем сходить к реке? Или нет уже?

— Давай попробуем. Только сначала послушай вот этого кузнечика — самого настойчивого.— Надежда Константиновна поднесла руку с часами вплотную к уху мужа.— Слышишь, как заливается?

— Да, да, да! Самый настоящий кузнечик. Ну что ж, у нас был прекрасный день. День отдыха, правда? И свежим воздухом надышались на целую вечность вперед, и цветов столько набрали.

— И чуть было не поссорились...

— Чуть — не считается... Ну а теперь, кажется, моя очередь ставить условия. Так вот, как только вернешься от Веры, устроишься в кресле поудобнее, и твое воскресенье продолжится. Обещаешь?

— Почему «твое»?

— Ну наше.

— То-то.

— Хорошо.

— Скажи: обещаю.

— Обещаю.

...В первом часу ночи Владимир Ильич увидел свет в комнате Надежды Константиновны. Он вошел и остановился в недоумении: весь стол Надежды Константиновны был завален газетными вырезками. Глаза ее слипались от усталости.

— Не сердись, Володя, аудиенция у Веры затянулась. Возвратилась поздно, а тут еще тысяча дел.

Владимир Ильич положил руку на плечо жены:

— Разреши, я тебе помогу.

— Нет, нет, ни в коем случае! Кроме меня,

никто не разберется в этом пасьянсе... Ты маму видел?

— Честно говоря, мне тоже пришлось кое-куда заехать. Пол-Парижа исколесил.

Надежда Константиновна с упреком взглянула на него.

— Но к Елизавете Васильевне все-таки забежал на минутку. От цветов — в восторге! Совсем, говорит, такие, как в России. Очень растрогалась. И хоть я чертовски торопился, успела спросить, есть ли для нее работа.

— Не забыл про листовки?

— Не забыл. Только Елизавете Васильевне нездоровится последние дни, ты видишь. Пришлось сказать, что на этот раз листовки совершенно несрочные. Можно позже зашить их в подкладки. Вот о чем я попросил ее позаботиться безотлагательно, так это о ее дочери — не щадит себя ни капельки, не желает хотя бы элементарно выспаться.

— И что же мама?

— Сказала, что с тобой надо бороться.

— Так и сказала?

— Да. Если, дескать, застанете Надю за столом ночью, тут же зовите меня.

— Самое время пойти и позвать.

— Как раз это я и собираюсь сделать. Причем немедленно.

— Идти, так уж вместе! Мама ведь не одну меня осуждает за ночные бдения.

— Значит, идем и жалуемся друг на друга? Превосходно! Но может, лучше отложим до утра? Дадим человеку отдохнуть?

— Верно, жалобу отложим. Но дело я должна сделать, как хочешь... Ой, смотри-ка, мама лампу забыла опять погасить. Когда-нибудь у нас будет пожар!..

Вдвоем они направились к Елизавете Васильевне. Из-за неплотно притворенной двери ее комнатки вырывался зеленоватый свет, образуя узкую тропинку в передней. По этой тропинке они подошли еле слышно и замерли на пороге.

Елизавета Васильевна, ссутулившись, сидела у стола и работала. Перед ней лежало несколько пиджаков, от одного из которых как раз в этот момент отпарывалась подкладка. Ножницы в руках Елизаветы Васильевны ходили быстро, ловко.

Рядом с настольной лампой на скатерти веером расстилались «совершенно несрочные» листовки Ленина.

У ромашек, стоявших тут же в фарфоровой, подаренной Владимиром Ильичем вазе были широко раскрыты желтые немигающие глаза...





ПЕРВЫЕ СЛОВА

Как многие дети окраин Питера, Паша с увлечением играла в казаков-разбойников и гоняла голубей. Беззаботная пора забав этих длилась у ребят недолго, обрывалась нежданно-негаданно. У Паши детство вообще не прошло — промчалось.

Едва она закончила третий класс, как началась война. Отец и старший брат ушли на фронт. На руках у Паши оказались больная мать и младший братишка.

Что делать? Куда, к кому обратиться? Как заработать на хлеб? — все эти вопросы встали перед юным существом, и ответа на них не было.

После долгих скитаний и мытарств удалось Паше устроиться рассыльной в одну контору. Работа была не из легких. Весь день бегала по городу, к вечеру валилась с ног от усталости. Но хозяин был все равно вечно чем-нибудь недоволен и все время грозился выгнать.

Стало Паше не до казаков-разбойников, не до голубей. А пробил час — в судьбе ее возникли совсем другие казаки. Своими глазами увидела, как нагайками избивали они рабочих на одной из застав. Затянувшаяся страшная война, нищета, голод вывели людей на улицы. Забушевали в городе митинги, демонстрации, стачки. На пути маленькой служащей то тут, то там вставали баррикады. Однажды пришлось пробираться в контору и под пулями...

Как-то — это случилось весной — девочку подхватила и понесла с собой толпа, двигавшаяся к Финляндскому вокзалу. Сказали, что идут встречать Ленина,— имя это Паше уже было знакомо хорошо. Все последние дни передавалось оно в городе из уст в уста.

Тысячи людей заполнили вокзальную площадь и прилегавшие к ней улицы. Поезд подошел поздно вечером. Через головы взрослых Паше трудно было разглядеть в темноте Ленина, но она, изловчившись, все-таки разглядела. Он в тот миг в распахнутом черном пальто с поднятым воротником

стоял возле выкатившегося откуда-то броневика, потом поднялся на его башню, начал произносить речь. Отнесенной в сторону девочке почти невозможно было расслышать оратора, но она напрягла весь свой слух, поняла самое главное.

Глубокой ночью, оставшись наедине со своими мыслями, Паша сказала себе: «При первой возможности стану помогать тем, кто с Лениным». Она еще не знала, как осуществить эту мечту. Твердо знала одно: к мечте своей человек идет иногда медленно, спотыкаясь и падая, но настойчиво. Так было написано в одной книге, попавшейся ей в руки.

Через несколько месяцев революция, о которой говорил с броневика Ленин, победила. На стенах домов появились листовки, звавшие работать с Советской властью. Подписи Ленина под листовками не было, но Паша сразу подумала — это он писал, и потому не откладывая направилась не куда-нибудь — в Смольный, к Ленину.

Даже люди с винтовками в руках и пулеметными лентами, перекрещенными на груди, расступились перед девочкой, поднявшейся по каменной лестнице.

— Работать, говоришь, хочешь? С Советской властью?.. — спросил Пашу вызванный часовым высокий человек, назвавшийся секретарем Совнаркома.

— Работать,— подтвердила она.

— Сколько лет тебе, милая? Что делать умеешь?

Паша смутилась только на мгновение, потом взяла себя в руки:

— Пятнадцать. А делать буду все, что нужно. Я в конторе служила. Рассыльной.

— В конторе, говоришь? — секретарь задумался.— А пишущую машинку видела когда-нибудь?

— Видела. И даже печатать пробовала. Одним пальцем...

Секретарь переспросил:

— Одним пальцем? Негусто, конечно...— он едва заметно улыбнулся.— Но ты знаешь, я сам на днях таким способом целую бумагу отстукал. Образование у тебя какое?

— Три класса городской школы.

— Городской... Ладно, давай попробуем. Завтра сможешь приступить?

— Смогу!

Паша была счастлива и назавтра пришла задолго до назначенного ей раннего часа. Секретарь оказался уже на месте. Он заметил ее, когда она остановилась перед часовыми, подошел, проводил в комнату, заставленную множеством письменных столов. Комната была большая, светлая. В углу, у самого окна, стоял никем не занятый столик, на котором Паша увидела черную машинку с золотым полустершимся гербом.

— Вот твое рабочее место,— сказал секретарь,— а вот папка с самыми срочными делами. Главное — в робость не впадать, договорились? Да ты, я вижу, не из очень-то робких?

Паша хоть и кивнула в ответ, но сробеть, конечно, сробела. И еще как! Все буквы и цифры на круглых клавишах разбежались и никак не хотели вставать на свои места. Прошло часа полтора, прежде чем Паша напечатала первые слова.

На звук заработавшей машинки пришел секретарь. Вгляделся в отбитые Пашей строчки, подбодрил:

— Молодцом! Поторапливать не буду. Бумаги

хоть и срочные,— снова счел нужным подчеркнуть он,— но, запомни, они к тому же еще и важные.

Сказал так и ушел. А Пашу опять взяла оторопь. Замолчал заработавший было «Ремингтон».

Минут через десять явился обеспокоенный секретарь.

— Ну что же ты? Что случилось? Я уж товарищу Ленину про тебя доложил, а ты... Может, устала?

Паше стыдно было признаться, что она просто испугалась ответственности:

— Устала, но вы не волнуйтесь, это скоро пройдет.

— Тогда выйди, подыши свежим воздухом,— сказал секретарь.— Я тебе постоянный пропуск оформил. Вот возьми.

Паша поблагодарила, поднялась из-за столика и тут вдруг почувствовала, что действительно сил у нее нет никаких. Сказалась, наверно, бессонная ночь, проведенная у постели матери, ну и конечно, переволновалась перед первым рабочим днем в Смольном. Пошла меж столов, пошатываясь. Секретарь проводил ее сочувственным взглядом и вздохом. Так во всяком случае показалось Паше.

Через четверть часа вновь заработал «Ремингтон». Удары по клавишам были все такими же редкими, но уже чуть более твердыми. Машинка начала понемногу слушаться Пашу. Девочку никто не поторапливал, но она скоро заметила, что каждая только что законченная ею страничка тут же исчезала со столика. Она даже не успевала вычитать текст.

В этот день Паша ушла из Смольного вместе со всеми — поздним вечером. А на следующее

утро явилась сюда еще раньше, чем вчера: хотелось потренироваться, пока никого нет. Ничего из этого не вышло — и секретарь Совнаркома был уже на месте, и многие другие работники.

Паша обратила внимание на то, что кто-то успел похозяйничать на ее столике. Сказала об этом секретарю. Он успокоил ее:

— Это я еще одну срочную бумагу отстучал.

— Вы же сказали, все бумаги тут срочные,— удивилась Паша.

— Эта сверхсрочной была. От товарища Ленина. На твою долю такие тоже остались. Вот смотри. С них начинай.

В руках у Паши оказался целый веер листков, исписанных мелким почерком. Уже в одной из первых строк встретилось слово, которое разобрать не могла, как ни старалась. Секретарь, догадавшись, в чем дело, подошел к машинистке.

— Давай помогу. Я любое слово его понимаю.

— А вот это? — спросила Паша.

Секретарь в самом деле сразу прочитал:

— Кор-рес-пон-дент! Ты хоть знаешь, что это обозначает?

Паша призналась, что слышит впервые.

Секретарь снова тяжело вздохнул, и это уже не показалось Паше. Вздохнул по-настоящему, так, что лист копировальной бумаги соскользнул на пол. Поднял его секретарь сам, опередив нагнувшуюся было Пашу. Чуть лбами не стукнулись и оттого рассмеялись.

Объяснив значение слова «корреспондент», секретарь ушел по своим делам, но, как только умолкало стрекотание «Ремингтона», возвращался к машинистке. Паша привыкла к этому, и, когда он подходил, не оборачиваясь и не дожидаясь во-

проса, молча указывала карандашом строку, на которой остановилась.

Во время очередной заминки помощь почему-то запаздывала. Девочка прилагала все силы к тому, чтоб справиться самостоятельно, но ничего из этого не получалось. Наконец где-то у самого уха услышала дыхание подошедшего к ней человека. У нее отлегло от сердца, она привычно нацелилась карандашом в неподдавшееся слово. И сразу же услышала ответ:

— Комиссар!

Паша вздрогнула: голос был знакомым и незнакомым. Она резко обернулась. Возле нее стоял, оказывается, совсем не секретарь, а сам товарищ Ленин — такой же, как тогда на Финляндском вокзале,— в черном, широко распахнутом пальто с поднятым воротником, словно только что откуда-то вернулся. Она сразу узнала его, хотя видела и слышала всего раз в жизни. От неожиданности и смущения спросила:

— Это вы?..

— Это я... Разве вы меня знаете?

— Вы Ленин! — воскликнула Паша тихо, но уверенно.

— Правильно, Ленин. Но и я вас знаю. Вы — первая машинистка Смольного. Правильно?

Паша смутилась еще больше. Ленин, заметив это, сказал:

— Очень хорошо, что у нас теперь есть товарищ, который умеет печатать! Вы представить себе не можете, как это замечательно! Вас зовут Паша. Мне о вас рассказывали. Машинистка в Смольном, говорят, работает. И лет ей якобы едва-едва пятнадцать. Правильно?

— Полных пятнадцать...— уточнила Паша.

— Пятнадцать полных? Очаровательно!—

воскликнул весело Ленин.— Не каждый может похвастаться, что пришел в революцию в таком возрасте. Вы меня поняли?

Паша поняла, кажется, не до конца, но на всякий случай кивнула.

— Как вам живется у нас, Паша? — спросил Ленин.— Только честно и прямо, прошу вас. Трудновато? Да?

Машинистка вместо ответа протянула вперед свой указательный палец — узенький, дрожащий от напряжения и к тому же весь перепачканный фиолетовой краской от ленты.

— Печатаете одним пальцем,— без лишних объяснений понял Ленин.— Не беда! Все большое начинается с малого. Не смущайтесь, все постепенно наладится. Кстати, а как с почерком?

Последнего вопроса Паша не поняла, беспомощно взглянула на Владимира Ильича. Он перехватил ее взгляд:

— Хорошо ли руку мою разбираете? Я в спешке иногда так настрочу, что даже Надежда Константиновна встает в тупик.

Паша не знала, что и как ответить. Ленин, перегнувшись через ее плечо, пристальнее вгляделся в дробную россыпь строк «Ремингтона», сказал:

— По-моему, все хорошо у вас, Паша. Вот и слово «комиссар» сейчас напечатаете. И напечатаете наверняка совершенно правильно — через два «зс», так ведь? И в «корреспонденте» два «зр» поставили. Молодец, да и только!

Ленин вдруг выпрямился, посмотрел в окно, затянутое густым осенним туманом, и тихо промолвил:

— А знаете, о чем я подумал сейчас, Паша?

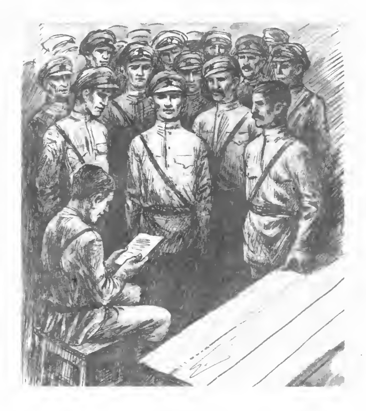
Не догадываетесь? Слушайте меня внимательно. Трудное, сложное время выпало нам. Сложное, трудное, но прекрасное! Мы по буковке пишем, печатаем в эти дни первые, самые первые слова революции! Вы только вслушайтесь, Паша,— «октябрь», «комиссар», «народный депутат»!.. Придет время — слова эти положат на музыку. Да, да! Мы с вами счастливые, счастливейшие люди на всей земле. Вы согласны со мной?

Паша снова кивнула. На этот раз уже гораздо более уверенно, без тени колебания.

Ленин, довольный, окинул взором большую комнату Совнаркома, работавших тут людей и так же задумчиво, но чуть громче повторил:

— Счастливые. Счастливейшие, уверяю вас!





ПОДАРОК

Война для Павла давно кончилась, а военная служба продолжалась: весна двадцатого года застала его в Москве на первых пулеметных курсах. Павлу нравилось, что ему, простому деревенскому парню, довелось ходить под ружьем не где-нибудь — в Кремле. Почему? Павел, наверное, не

смог бы толком это объяснить даже и самому себе. Нравилось, и все. Он так и отцу написал: «Служба у меня хорошая». Хотел было добавить, что ему выпала честь охранять квартиру Ленина, что уже несколько раз стоял на этом посту, но передумал. Верней, друзья отсоветовали:

— Тебе такое дело доверили, а ты...

— Я же отцу родному.

— Все равно тайна. Государственная.

Павел понимал это, но только скрыть свою радость ему не удавалось. Стоит иной раз на посту и улыбается. Это дружки давно уже заметили.

— Павел-улыба,— сказал однажды кто-то из них.

Прозвище это закрепилось за парнем, но он не обижался. Как-то остановился возле улыбчивого часового Ленин.

— Настроение хорошее?

Павел молча кивнул Ильичу.

— Ну вот и прекрасно. Как вас зовут?

— Павел...

Заметив, что часовой смутился, Ленин легонько дотронулся до его плеча.

— Будем знакомы, товарищ Павел.

С тех пор они всегда безмолвно приветствовали один другого. Улыбнутся мельком друг другу — и до новой встречи.

Но раз произошел такой случай. Глянул на Павла Владимир Ильич и не узнал своего знакомого. Перед ним стоял сумрачный, удрученный чем-то человек.

— Что с вами? — подошел к нему Ленин.

Павел только голову в плечи вобрал.

— Неприятность какая-нибудь, да?

Павел, как и в тот раз, кивнул Владимиру Ильичу.

— Очень прошу вас, зайдите ко мне, когда смените́сь. Только, чур, без всяких стеснений и церемоний. Жду.

Вечером Павел пришел к Ленину.

— А! Сядьте-ка вот сюда,— приветливо встретил его Владимир Ильич.— Так что же случилось?

— Неловко мне вас беспокоить как-то...

— Нет, нет, беспокойте, беспокойте, прошу вас. Непременно беспокойте.

Павел вытер вспотевший от напряжения лоб таким движением, словно хотел сказать: «А, будь что будет!» — и робость его отступила.

— Письмо пришло из деревни, Владимир Ильич.

— Так. И что же в письме? Плохие вести?

— Отцу моему край приходит.

— Поволжье? — спросил Ленин.

— Нет, курские наши места.

— Курские? — Ленин тоже провел рукою по лбу.— Можете показать письмо?

Павел вынул из кармана гимнастерки замусоленный клочок бумаги. Ленин пробежал его глазами в одно мгновение.

— Да-а... Тяжела крестьянская доля, товарищ Павел,— сказал он, возвращая письмо.— Тяжела вообще, а нынче особенно.

Ленин продолжал глядеть на Павла, но, казалось, в этот миг уже не видел его.

— Курские, курские... Ведь это же сплошной чернозем! Сейчас бы отцу вашему пахать и пахать.

— Вот именно, Владимир Ильич. Но лошаденка наша на все село одна была, не встала после зимы...

— Как называется ваше село, товарищ Павел?

— Забытое, Владимир Ильич.

— Как, как?..

— Забытое. Так кличут весь век.

— Ничего себе век! Село Забытое, и люди в нем забытые — так, что ли, получается?

— Нас забытинскими зовут, Владимир Ильич.

— Все равно обидно и несправедливо. Согласны?

— Согласен.

— Придется нам с вами всю карту России переписывать заново.

— А? — не совсем понял его Павел.

— Не должно, я говорю, у нас остаться ни забытых, ни забытинских. Не в названиях дело, конечно. Это я просто к слову. Но и в них. Звучит уж больно обидно: Забытое.

— А! — уловил наконец Павел мысль Ленина.— Оно, конечно, название не то, но если б не пала Хромуша...

— Хромушей, значит, звали кормилицу?

— Хромушей.

— Скажите, Павел, если б у вас появилась сейчас новая лошадь, вы бы ее снова Хромушей назвали?

— Зачем Хромушей? Та у нас отроду убогой была, а новая... Да где ее теперь взять?

— Ну а как учеба идет? — вдруг перевел разговор на другую тему Ленин.

— Тут порядок, Владимир Ильич. Стараемся.

— Уже хорошо! Главное в нашем деле, товарищ Павел, духом не падать.

Он так сказал это свое «в нашем деле», что Павел и сам подумал о себе и об Ильиче как о людях совершенно равных, у которых одна цель, одна забота.

— Ну не огорчайтесь, товарищ Павел. Остальное тоже должно наладиться.— Ленин, чтобы окончательно поднять настроение парня, подмигнул Павлу.

Они расстались. Ленин пошел по своим делам. Павел — по своим.

Поздно ночью, когда все в казарме давно спали, Павел снова, в который уже раз, достал из кармана письмо отца.

«Павлуша, сыночек, горе у нас большое.— Павел едва разбирал выведенные дрожащей рукой каракули.— Хромуша, кормилица наша, пала. Как теперь нам без лошади? Хоть пропадай. Полосу не успели вспахать, все хозяйство остановилось. Может, ты, Павлуша, отхлопочешь отпуск ден на десять. Тогда как-нибудь бы управились. Приезжай, я тоже чувствую плохо. Не знаю, дождусь...»

Всю ночь не сомкнул Павел глаз. А когда наступило утро, решил идти к начальнику курсов, рассказать про отцово письмо. Так друзья посоветовали.

Едва переступил Павел порог кабинета начальника, тот сам вдруг поднялся навстречу и говорит:

— Знаю все. Отпуск пришел просить?

— Отпуск,— не слыша собственного голоса, не то сказал, не то прошептал Павел.

Начальник усадил курсанта за стол:

— Пиши.

— Да я, да у меня...— дрожащими пальцами Павел начал отстегивать клапан кармана гимнастерки, где хранилось письмо отца.

— Говорят тебе, все знаю.

Начальник, не торопясь шагая по кабинету, продиктовал Павлу рапорт от первой до последней строки. Потом прочитал вслух, что получилось, и сказал:

— Распишись.

Павел расписался.

— А теперь я распишусь. Отпуск тебе на две недели!

— Спасибо, товарищ начальник. Я отслужу.

— Да ладно, ладно уж, на часах ведь больше положенного при всем желании не простоишь. Ты устав караульной службы знаешь?

— Знаю.

— Ну а чего ж ты?

— Спасибо вам, товарищ начальник.

— Спасибо не мне — Советской власти скажи.

— И власти спасибо.

Оба весело посмотрели друг на друга.

Павел поднялся с места, но начальник жестом руки остановил его.

— Это не все еще.— Он подошел к телефону и позвонил: — Здравствуйте, Елена Дмитриевна! Вы хотели видеть моего курсанта? Вот он, сидит у меня... Прислать его к вам? Сию минуточку... Да, отпуск оформлен... На две... Будьте здоровы, Елена Дмитриевна.

Павел не мигая глядел на начальника, а тот изумлял его все больше и больше.

— Это я со Стасовой говорил. Знаешь такую? У нее для тебя записка от Ленина.

— Для меня?

— Да, насчет лошади. Владимир Ильич распорядился, чтоб отцу твоему выделили лошадь для поправки хозяйства. Кавалерийские части расформировываются, лошади будут передаваться в уезды бедноте. Ваша очередь первая.

Этого Павел не понял, вернее, не в состоянии был понять. Он с трудом пришел в себя даже и вечером, в казарме, где его обступили со всех сторон курсанты и в десятый раз требовали рассказать все по порядку.

Записка переходила из рук в руки, и Павел уже начал сердиться:

— Да аккуратней вы, аккуратней...

Он убрал записку подальше и достал ее только в тот день, когда ребята его провожали, и то лишь для того, чтобы убедиться, на месте ли она.

Павел уехал, как было написано в приказе, на две недели, и, наверно, все две недели не умолкали бы на курсах разговоры о нем, об его отце и лошади.

Но не суждено было курсанту полностью использовать полученный отпуск. Через пять дней рано утром появился он в казарме. Одно это уже вызвало там переполох, а когда повскакавшие с коек ребята глянули на Павла, и вовсе пришли в замешательство.

Перед ними стоял не тот веселый, улыбчивый, полный сил и здоровья парень, с которым они простились на прошлой неделе, а изможденный, осунувшийся человек.

— Что с тобой, Пашка? — кинулись к нему ребята.

— Плохо дело мое, братцы.

— Не дали коня?

— Может, и дали бы.

— То есть как это — «может»? Ну рассказывай, рассказывай. Подмогнули тебе и еще модмогнут.

— Не поможешь ничем теперь. Батю на погост свезли.

— Батю?..

— Да, после того, как пала Хромуша, лег на печь и не встал больше. За три дня до моего приезда помер.

Ребята стояли вокруг приумолкшие, растерянные. Не знали, что сказать, как поступить.

Павел дотащился до своей койки, устало опустился на нее, попросил табаку.

— А матери у тебя нет? — спросил кто-то.

— Она скончалась сразу, как отец с гражданской пришел. Лекарь сказал: от радости.— Он помолчал, затянулся несколько раз свернутой кем-то для него «козьей ножкой» и сказал: — Вот ведь как люди устроены — от радости мрут, от горя и подавно. А я еще хотел Подарком его назвать.

— Кого?

— Коня того.

— А записку про коня ты куда девал?

— Как — куда? Отдал деревенским. Пусть выхлопатывают. Батя точно отписал: ни одной лошаденки в Забытом.

— Ну, ты рассказал им про свой разговор с Ильичем?

— Как же. И адрес его дал, чтобы всем селом отблагодарили, когда получат коня.

— Ничего не запамятовал?

— Не упомнил только сказать, чтоб Подарком коня назвали.

— Эх ты!..

— Растерялся я малость.

Вечером того же дня курсанты писали письмо в село Забытое. Первым делом про то, чтобы Подарком коня нарекли. «А если выйдет какая задержка с получением,— писали они,— сообщите Павлу, он Ленину лично доложит».

— Так, что ли, Паша? — спросил кто-то из них.

— Так,— ответил Павел.— Лично доложу. Все-таки будет коняга в нашем селе.





СУББОТНИК

Железнодорожные платформы на запасном пути поскрипывали под штабелями заснеженных бревен. Мороз к вечеру усилился, и было не ясно, отчего бревна скрипят — оттого ли, что пробрал их холод, или от собственной тяжести.

Когда рабочие, наспотыкавшись о заваленные сугробами рельсы, подошли к поезду, им даже не по себе стало — то ли декабрьские сумерки так быстро нагрянули, то ли состав был действительно таким длинным, но до конца его разглядеть было невозможно.

— Да-а... Тут не только дотемна — до утра не управишься! — вздохнул кто-то негромко, но так, что все услышали.

На человека, сказавшего эти слова, тоже негромко, но дружно зашикали:

— А ты не робей, дело ведь добровольное.

— Хочешь, ступай домой, мы и без тебя бревешки перекидаем.

— Без меня не перекидаете, потому как я отсюда никуда не уйду.

— Вот это другой разговор!

И субботник начался. Сперва не дружно, не споро, но вот высоко над платформами зазвучало извечное:

— Раз-два, взяли!..

Еще минута, и песня, как всплеск буферов, покатилась по всему составу:

— «Еще ра-ази-ик! Е-еще раз!»

Казалось, уже никто и ничто не в состоянии нарушить этого ритма, этого веселого шага «Дубинушки». Но в самый разгар работы песня вдруг оборвалась так же неожиданно, как вспыхнула,— от платформы к платформе, из уст в уста передавалось, подхватывалось одно и то же слово:

— Ленин!..

Невысокий, в черном пальто и треухе, он вырос откуда-то из снежной кутерьмы и, весело поздоровавшись с незнакомыми ему людьми, сразу растворился в толпе, попытавшейся было его приветствовать.

И тут уже вместе с двумя рабочими он подымает и тащит с платформы плавно покачивающееся, облепленное снегом бревно, и снова перемешивается с воющим ветром на минуту притихшая песня:

— «Э-эх, зеленая, са-ама пойдет. Подернем...»

Увлеченный работой, Ленин не сразу замечает, что бревна, под которые он старается подставить то одно, то другое плечо, все какие-то удивительно легкие, почти невесомые. Ему сначала даже кажется, что причиной тому — знакомая с детства «Дубинушка», распрямлявшая спины грузчиков и бурлаков в далеком Симбирске.

Но вот Ильич, громко рассмеявшись, спохватывается:

— Ну и мудрецы! Кого провести захотели!

Как это он сразу не сообразил! Двое его напарников, берущих бревно с двух концов, намного выше, сильнее его, и он, идущий между ними, еле-еле дотягивается до громоздкой ноши, едва касается ее своим плечом!

— Не-эт, товарищи, так дело не пойдет! Давайте по-честному, или я уйду в другую бригаду.

— Владимир Ильич, мы по-честному. Вам показалось...

— Ну так вот, чтобы никому ничего не казалось, я встану с краю, а вот вы...— Ленин дотронулся пальцем до могучей груди одного из парней,— вы вставайте в середину, вот сюда, на мое место. Перегруппировка сил иной раз бывает полезней. Пожалуйста!

Поменялись местами. Понесли.

Но как на грех, бревно опять почти висит в воздухе где-то над самым ленинским плечом, а Ильичу за воротник только ржавый снежок сыплется!

— Да что же вы вытворяете?! — рассердился Ленин.

— Владимир Ильич, это бревно горбатое. Как ни поверни, все топорщится. Сейчас другое возьмем.

Ленин не сказал больше ни слова, только, слегка покачав головой, с осуждением взглянул на смущенных хитрецов. Потом, глубоко запустив руки в карманы пальто, по-военному резко повернулся — пошел искать себе новых напарников.

Ленин работал вместе со всеми, пока весь состав не был разгружен. А было в том составе больше сорока четырехосных платформ, и на каждой бревен — целая гора.

Но странное дело: к кому бы из рабочих в тот вечер ни подходил Ильич, в чьей бы бригаде ни грел озябшие руки у костра — все люди казались ему великанами, чудо-богатырями! И за какое бы бревно он ни брался, под какое бы ни подставлял плечо — все были легкими, одно легче другого, и словно пушинки сами плыли по воздуху.





ВАРЕЖКИ

Это письмо из Москвы пришло к Дарье, когда она еще не перестала его ждать, хотя все соседи в один голос говорили.

— Не напишет, Дарья. Некогда ему сейчас в переписке с тобой находиться.

Дарья и сама понимала: адресат ее очень занят, но надеялась — ответ ей все-таки будет.

— Дело у меня серьезное. Человека касается.

И вот однажды утром на виду у всей деревни почтальон дядя Саша Каланча, спрямляя снежную тропку, с тяжелой сумкой на плече пробрался к старухиной хатке, постучал по краешку наличника:

— Важный пакет тебе, Дарья. Отворяй.

Никто не узнал тогда, что говорилось в том пакете, но по всему видно было — своего старуха добилась. И жители деревеньки вздохнули с облегчением: хлопотала Дарья за обиженную кем-то учительницу — одинокую, хворую, тоже совсем старую.

А через неделю деревенские удивились еще больше. Дарья, которая вот уже лет десять не отходила далеко от дома, быстро семенила в сторону станции...

Город встретил ее шумом, сутолокой, но старуха прямо с вокзала, нигде не задерживаясь, направилась к центру и вскоре добралась до места.

— Вы к кому, бабушка? — остановил ее возле кремлевской башни человек в военной форме.

— Мне самого повидать надобно.

— Пропуск иметь полагается.

— Знаю, что полагается, да времени у меня маловато — нынче приехала, нынче и обратно. Ты уж сам, сынок, скажи кому следует.

Еще в поезде обдумала Дарья, что и как скажет при встрече с Ильичем, а вышло все по-другому. Когда переступила порог кабинета, в котором работал Ленин, все приготовленные слова вдруг забы-

ла. А он быстро поднялся ей навстречу из-за стола и заговорил первый:

— Здравствуйте, Дарья Семеновна. Садитесь вот сюда, к свету, и рассказывайте.

Дарья помолчала, еще раз попыталась собраться с мыслями, но так и не пришло ей на память ни одно из тех задуманных слов.

— Просто спасибо пришла сказать. За учителку нашу.— Встала, подошла совсем близко и развязала принесенный узелок.— Это тебе. Ты не серчай, прими, как от матери принял бы.

На край стола легли серые варежки. Легли так мягко и так тихо расправили на зеленом сукне свои пушистые складочки, будто задумчиво вздохнули о чем-то.

Вырвался еле заметный вздох и у старухи.

— Наши, простецкие. Носи на здоровье.

Ленин взял одну варежку и примерил. Пришлась она в самую пору.

— В наших краях тоже такие вот вяжут. Крученая шерсть. Спасибо вам большое.

Хотел еще что-то сказать, но старуха суетно стала прощаться:

— Ты уж извини, спешу.

И ушла так же неожиданно, как появилась.

Однако, выйдя из стеклянных дверей, она вдруг перестала торопиться и пошла по огромному, как город, двору медленно, степенно, как по своему собственному. И как-то почти по-домашнему, по-деревенски садился ей на укутанные платком плечи сухой, граненый снежок января.

Старуха остановилась, в задумчивости оглядела все вокруг — золотые купола старинных храмов, зубчатую розовую стену, ровные ряды давно отшумевших пушек.

Дважды вспыхнул и отлетел за реку Москву —

в вечереющее Зарядье — перезвон курантов, а она все стояла и улыбалась своим мыслям.

У Боровицких ворот ее неожиданно окликнул кучер, сидевший в санях-розвальнях:

— Вы Дарья Семеновна?

— Я,— удивленно ответила старая.

— Ленин велел вас до вокзала довезть.

Вернулась Дарья в деревню довольная, веселая. Односельчане, послушав ее рассказ, не удержались от шутки:

— Ты вроде бы помолодела даже!

— А чего мне делается? Вот пушки в городе стоят под снегом, поди, триста зим — не ржавеют...

Не знала вот только Дарья, носит ли варежки тот, кому они были связаны.

— Да на кой они ему, ты сама рассуди,— говорили соседи,— у него небось фабричные есть.

— Это верно,— соглашалась Дарья Семеновна.— А может, все-таки носит в морозные-то дни?..

И в глубине души надеялась: носит.

Вскоре деревенские парни побывали в городе. Воротились и первым делом к Дарье:

— Носит! Сами видели.

Дарья слушала парней молча, а возле самых очков ее колюче поблескивали на ранней вечерней зорьке остро отточенные стальные спицы.

Рядом на подоконнике лежали готовые варежки. Шерстяной палец одной из них торчал так, будто она уже натянута на чью-то богатырскую руку.

— А эти кому, Дарья Семеновна?

— А эти Ильичеву кучеру. А еще почтарю нашему, Саше Каланче. Вишь, какую тяжелую сумку с письмами таскает он по морозу-то каждый день.

...Много лет прошло с тех пор. Нет Ленина, давно нет и самой Дарьи. Другой почтальон спрямляет по утрам снежные тропки в Дарьиной деревне, но спицы, которыми вязала старуха свои бесценные подарки, живут и работают, видать, без отдыха.

Соседу нашему, герою-летчику, пришла недавно от земляков посылка из деревни, что «за Можаем». Открыли — варежки! Точь-в-точь как те.





ПОСЫЛКА

По нескольку раз в день Дзержинский просматривал свежую почту. Корреспонденций всегда было много — правительственных и самых обыкновенных.

С далекой границы докладывали об операции

против контрабандистов. Волжане просили срочно оказать помощь голодающим детям. Из Сибири сообщали о том, как идет отправка в центр России продовольствия и семенных грузов...

Дзержинский на каждое письмо, на каждую телеграмму отвечал не откладывая, точно и по существу. Сейчас, перед дальней командировкой, он делал это с особой тщательностью и готов был просиживать на работе до утра, лишь бы не оставить после себя «бумажных хвостов». Он все поторапливал секретаря:

— Ну, как там? Какие еще есть депеши?

Секретарь то и дело входил в кабинет. Для удобства он раздобыл где-то поднос и на нем носил Феликсу Эдмундовичу свежую почту.

Дзержинский давно заметил это, но все не находил времени, чтобы пожурить парня за чрезмерное усердие, и разговор о подносе откладывался до подходящего случая. Сегодня утром он наконец не выдержал:

— Совсем как в старинном романе: граф проснулся, позвонил в колокольчик, и ему принесли на подносе письма и черный кофе!

— Если бы кофе...— тихо сказал секретарь.

— Вот именно, если бы! А то поднос большой, а толку мало — нóсите с утра до вечера одни бумаги. Может, это и удобно, но, знаете ли, как-то не очень питательно.

Бледные, худые, они стояли друг против друга — юноша и нарком,— и шутка помогла им обоим на одно мгновение забыть о голоде, о тифе, о враге.

— Это где же вы раздобыли такую посудину?

— Эта посудина, Феликс Эдмундович, действительно как в романе, восéмьдесят четвертой пробы. Реквизировали у одного недобитого буржуя.

Дзержинский поглядел на секретаря так, что тот, позванивая пустым подносом, вышел из кабинета, недоуменно пожав плечами:

— Все ведь думаешь, как лучше...

Это он сказал уже в приемной, и Дзержинский не слышал его слов. Не слышал и секретарь, как вдогонку ему тяжело вздохнул Дзержинский. Не видел он сейчас и лица Феликса Эдмундовича еще молодого, но тронутого глубокими шрамами усталости.

«Да-а,— думал секретарь,— не очень-то весело нынче день начался. К вечеру быть грозе».

Не знал он, что грянет она значительно раньше. Принес наркому очередную почту — не на подносе, нет, о нем больше и речи быть не могло!— тут и началось.

— Я видел утром в приемной фанерный ящик в сургучных печатях. Почему не докладываете?

— Феликс Эдмундович, я отложил это на конец дня. Посылка из Баку от товарища Хандалова пришла. Неслужебная. Одним словом, сюрприз.

— То есть как это сюрприз?

— Распаковывать без вас я не стал, но и так слышу — на всю приемную аромат, аж голова кружится...

Когда вскрыли ящик, глазам своим не поверили — тяжело стукаясь друг о друга бордовыми боками, по всему столу раскатились огромные, щедро налитые могучим бакинским солнцем яблоки...

От яблок подымался и полз по комнате одуряюще вкусный запах.

— Знаете что? Запакуйте это и унесите отсюда. Немедленно! — Дзержинский потянулся к блокноту, резким движением вырвал из него зубчатый листок бумаги.

— Сейчас унесу...

— Нет, сначала напишите текст моего ответа в Баку.

— Диктуйте, Феликс Эдмундович.

Секретарь едва успел нанести на бумагу почти стенографические иероглифы.

— Записали?

— В точности.

— Прочтите, пожалуйста, вслух.

— Пожалуйста. «Председателю Азербайджанской ЧК Хандалову. Уважаемый товарищ, благодарю вас за память. Посылку вашу получил и передал в санитарный отдел для больных чекистов. Должен, однако, заметить, что не следовало бы вам, как председателю ЧК и коммунисту, ни мне, ни кому-либо другому делать такие подарки. Дзержинский».

— Ну вот, это будет, кажется, и справедливо и гуманно. Отправляйте. А яблоки сейчас же передайте по назначению.

— Слушаюсь.

— Когда вернетесь, соедините меня с товарищем Лениным.

Минут через десять секретарь возвратился. Вид у него был такой, что и без доклада можно было понять — все распоряжения выполнены.

— Феликс Эдмундович, соединяю.

— Владимир Ильич? Здравствуйте, говорит Дзержинский...

Подробно доложив Ленину о делах, Феликс Эдмундович в конце разговора сказал:

— Озадачил меня сегодня один наш товарищ, разозлил даже. Прислал, видите ли, на мое имя продуктовую посылку! Я ему ответил, может быть, немного резковато, но, на мой взгляд, в общем,

справедливо. По поводу этого ответа я хотел бы с вами посоветоваться. Не слишком ли я его?

Дзержинский пересказал Ленину содержание своего письма Хандалову.

— Как ваше мнение, Владимир Ильич? Не слишком?..

В трубке что-то зарокотало и замерло. Дзержинский переступил с ноги на ногу.

— Да, уже отправил...

Секретарь внимательно вглядывался в лицо Феликса Эдмундовича и никак не мог догадаться, что происходит на другом конце провода.

Дзержинский слушал Ленина, растерянно улыбался и едва успевал отвечать:

— Ясно. Понимаю. Согласен. Большое спасибо...

Поздно вечером, перед самым уходом домой, Дзержинский в последний раз вызвал секретаря:

— Значит, завтра мы с вами отбываем в Сибирь. Все у нас с вами в порядке?

— В полном, Феликс Эдмундович!

— Тогда по домам!

Обычно после таких слов, попрощавшись и повернувшись через левое плечо, секретарь исчезал до следующего дня, но сегодня он что-то медлил.

— Вам что-нибудь не ясно?

Секретарь нарисовал ногтем на краю стола замысловатую фигуру.

— Поднос, надеюсь, на складе?

— На складе, Феликс Эдмундович.

— А яблоки?

— У больных чекистов.

— Так что же вас беспокоит?

— Могу я узнать, что о посылке Хандалова товарищ Ленин сказал?

— А-а! Вон вы что! Только, чур, между нами. Строго конфиденциально. Идет?

— Ясное дело, Феликс Эдмундович.

— Так вот отругал меня Владимир Ильич. Отругал. И знаете, в какой деликатной форме он это сделал? Вот, говорит, все зовут вас Железный Феликс, а вы, в сущности, добрейший и мягчайший человек. Я бы этого товарища из Баку еще не так разделал. И вынес бы ему строгий выговор. С предупреждением. Да, да, да. Понятно?

Это «понятно?» Дзержинский произнес както так, что было не ясно, Ленин ли обратился с таким вопросом к нему, или Дзержинский спрашивал своего секретаря — понятно ли, мол, вам, как рассердился Ленин?

Секретарь еще раз внимательно глянул на Феликса Эдмундовича и на всякий случай ответил:

— Понятно!..





ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА

Ленину стало известно об удивительной вазе от Луначарского. Нарком просвещения давно почувствовал во Владимире Ильиче тонкого ценителя всего по-настоящему талантливого и не уставал поражаться тому, какой острый глаз у него, как

зорко умеет увидеть прекрасное даже в малом. Поэтому, когда Луначарскому показали хрустальную вазу, он, залюбовавшись ею, тут же позвонил Ленину и попросил его найти время, чтобы взглянуть на это чудо из чудес.

В одно из воскресений Ленин объявил домашним, что проведет с ними почти весь день, отлучится только на час, самое большее — полтора. Родные обрадовались, что Владимир Ильич наконец-то сможет немного отдохнуть.

Но напрасно они ждали его к обеду. Уже под самый вечер с улыбкой провинившегося перешагнул он порог дома.

— Достоин наказания и прощения одновременно. Но когда услышите, из-за чего задержался, уверен — помилуете.

И, не раздеваясь, тут же, в передней, начал рассказывать о вазе.

— Это действительно чудо! Луначарский совершенно прав. Да, да, подлинное чудо! Тут нет никакого преувеличения.

Владимир Ильич взглянул на родных, ничего еще толком не понявших.

— Вы можете себе представить букет гвоздик из горного хрусталя? Даже не букет — целый сноп хрустальных цветов! Они-то и приворожили меня, околдовали просто. И знаете, почему я пробыл там так долго? Ни за что не поверите. Солнца дожидался! Анатолий Васильевич сказал, что ваза особенно красива при солнечном освещении, а день, как назло, выдался пасмурным. Только под конец стало немного проясняться, и мы увидели нечто непередаваемое. Каждый цветок переливался, как перья жар-птицы. Упадет на какую-нибудь грань солнечный луч — и по-новому вспыхнет цветок, даже очертания его меняются. Сколько

фантазии и вместе с тем какая гармония! Мертвый, холодный материал оживает в каждом лепестке, в каждом сочленении стебелька. Просто уму непостижимо, как могли сотворить такое человеческие руки! Обязательно свезу вас посмотреть вазу.

Ленину не представилось случая показать вазу своим близким, но вмешаться в ее судьбу ему пришлось самым непосредственным образом.

О «русском чуде» скоро прослышал кое-кто из иностранцев. Богатые собиратели всяческих редкостей любыми путями мечтали завладеть сокровищем. У одного заморского воротилы так разгорелись глаза, что он в азарте предложил за вазу... пять новых паровозов. Об этом доложили Ленину.

— Пять паровозов?..

— Пять! Мощных и на полном ходу!

Ленин возбужденно зашагал по комнате.

— Так, так, так... Тут есть над чем призадуматься.

— В том-то и дело, Владимир Ильич. Для России это нынче целое состояние.

— Согласен. Целое состояние. Ну и каково же ваше мнение?

— Мы решили прежде всего вам доложить.

— Я один этого тоже решить не могу. Давайте вместе взвесим все «за» и все «против». Вы хозяйственники, вам первое слово.

— Россия разрушена, Владимир Ильич. Без транспорта задыхается. Пять паровозов не шутка. Хорошая, стало быть, цена.

— М-да... Цена немалая, что говорить.

— Ну вот и мы так рассудили, Владимир Ильич. Нищая Россия-то. Беднее нас, пожалуй, нету теперь державы.

— Нищая, говорите? — Ленин помрачнел.— Да... Разорены, разграблены до предела, приходит-

ся признать, как это ни обидно. Но... вы сами-то вазу видели?

— Какая б она ни была, Владимир Ильич, паровозы нам сейчас нужнее.

— Но все-таки? Видели? Или нет?

— Видели.

— Понравилось?

— Не то слово, Владимир Ильич. Красавица!

— А коли так, давайте думать не о том, как ее выгоднее продать, а о том, как надежнее сохранить. Поймите, это уникальное произведение искусства, созданное талантливыми умельцами, которыми всегда был богат наш народ.

Хозяйственники слушали Ленина, а он увлекался все больше:

— Вспомните каслинских мастеров на Урале. Удивительнейшие изделия отливают из чугуна. Миниатюры ювелирной работы. А палешане с их поразительной лаковой росписью? А волжская Хохлома? А Мстёра? А Федоскино? Целые семьи, целые деревни народных талантов на Руси! Так что, если хорошенько разобраться, мы при всей своей бедности обладатели огромных богатств, несметных сокровищ. И надо во что бы то ни стало сберечь, сохранить все это. Конечно, теперешняя нужда может заставить принести и новые жертвы. Но будем разумными хозяевами. Словом, изыщите любые возможности, но только вазу ни в коем случае не продавайте.

Когда хозяйственники ушли, Ленин подошел к замерзшему окну, подышал на его ледяную корку, через образовавшуюся проталинку вглядełся в заметенную снегом Москву.

«Да-а... Трудное время. Голод. Холод. Разруха. Людям не хватает самого насущного. Третьего дня прямо на заседании Совнаркома товарищу

Цюрупе стало плохо. Врач констатировал: голодный обморок. Нарком продовольствия, человек, ведающий снабжением всей страны, падает в обморок от хронического недоедания! «Какой чудовищный парадокс!» — скажет кто-нибудь. Тут нет никакого парадокса! Именно потому-то мы и держимся, что существуют такие бескорыстные, преданные делу, высокие духом революционеры. А кудесники, смастерившие вазу? Если сегодня, в этих адских условиях, люди способны на такое, то какие же шедевры подарят они миру завтра!..»

Мысли Ленина были прерваны вошедшим секретарем:

— Владимир Ильич, вам звонят.

— Кто — простите.

— Опять все те же. Чего-то снова не ясно им насчет вазы.

Владимир Ильич взял трубку:

— Я слушаю... Ах вот оно что! Вы бы так сразу и сказали. Сейчас вместе сформулируем. Пи́шете? Пиши́те! «Ваза не продается. Ни за пять паровозов, ни за двадцать пять. Да будет известно господину покупателю, что это бесценное сокровище...» Записали? Превосходно. Да, добавьте вот еще что: «Вазу создал гениальнейший художник современности — рабочий класс России». Теперь прочтите, пожалуйста, что у нас получилось... Так, так, так... Спасибо. У вас возражения есть? Тогда действуйте. И будем считать, что решение по данному вопросу принято.





ПЕЛЬМЕНИ

— Владимир Ильич, пришли бы вы к нам в воскресенье, — сказал неожиданно в конце телефонного разговора старый знакомый Ленина Николай Матвеевич Степанов. — Очень просим. У нас ничего и никого не будет. Посидим, поговорим. Может, чайком побалуемся. Обсудим все заветные дела. Пора бы нам и на охоту нацелиться.

Ленин согласился.

— Посидеть, помечтать часок-другой не мешает. И Наденьку сагитирую. Одним словом, ждите! Только, ради бога, никаких чаев. Это твердо, обещаете?

Несмотря на строгое предупреждение, забегала, засуетилась жена Николая Матвеевича, заволновался и сам хозяин.

— Он когда-то страсть как пельмени любил. Настоящие сибирские, морозцем сбитые. Помнишь?

— Помнить-то помню, только...

— Барахолка рядом.

— Ну и что? Серебра у нас с тобой сроду не было, а за тряпки наши ничего не дадут — одно старье.

— Что бы такое все-таки придумать?

Начали Степановы вместе перебирать сундук. На самом дне его чудом сохранилась беличья муфта Веры Спиридоновны — та самая, которую подарил ей Коленька в годовщину их свадьбы. С тех пор прошло много лет, но муфта выглядела еще прилично. Переглянулись старики, повертели ее в руках и понесли на Сухаревку.

Так в доме нежданно-негаданно появились мука и мясо. Для полной удачи надо было бы раздобыть еще хоть несколько капель уксуса и головку лука, а говядину провернуть через мясорубку пополам со свининой, но и так пельмени получились отменными.

Стали ждать гостей, а те, как на грех, запаздывали.

Николай Матвеевич каждые пять минут взбирался на подоконник, через форточку запускал руку за обе рамы, где подвешенные в белом ме-

шочке пельмени погромыхивали на ветру, замороженные по всем правилам.

— Настоящие сибирские! Первый сорт!

Как раз за этим занятием и застал его Ленин.

— Эй! Что это вы там делаете? — еще со двора крикнул Владимир Ильич.

Когда гости вошли, пельмени уже беззвучно перекатывались в крутом кипятке, приправленном перцем.

В давно не топленной квартире пельменный дух распространился мгновенно. Первым уловил его Владимир Ильич.

— Наденька, а нас с тобой, кажется, предали.

— Не предали, а решили порадовать,— из-за фанерной перегородки поправила его смущенная хозяйка.

— Нет, нет, именно предали. Мы ведь с Николаем Матвеевичем условились — никаких угощений. Если б я знал, не пришел бы, честное слово.

Владимир Ильич, натыкаясь на стулья, нервно расхаживал по тесной комнате.

— Сибирские,— торжественно возвестила Вера Спиридоновна, появившись в дверях с пышущей паром кастрюлей.

— Я уже учуял, что сибирские, но откуда? Из каких закромов?

Когда на шумовку упали первые пельмени и Ленин, наклонившись, увидел, что сделаны они из белой, ослепительно белой муки, он даже зажмурился, и щека его перекосилась, как при зубной, нестерпимой боли.

Глянув на Степановых, он сказал как-то глухо и тихо, но совершенно отчетливо:

— Ну вот что, дорогие хозяева. Сердитесь на меня или не сердитесь, я эти пельмени есть

не буду. Да, да! Не знаю, у кого как, а у меня они в горле застрянут. До свидания. Решение принято единогласно,— уже с порога обернулся он, крепко взял под руку Надежду Константиновну,— обжалованью не подлежит.

...Утром в понедельник Ленин пришел на работу мрачный, каким его уже давно не видели. Одного за другим вызвал к себе всех товарищей, в той или иной мере ответственных за борьбу со спекуляцией. Всем надавал срочных и сверхсрочных заданий, а под конец строго-настрого предупредил:

— Проверять буду сам. Рабочие пухнут с голоду, а господа с барахолок благоденствуют и жиреют.

Когда вызванные работники, записав полученные распоряжения, разошлись, Ленин попросил соединить его с Николаем Матвеевичем.

Пока секретарь накручивал урчащую ручку аппарата, Ильич, как бы разговаривая сам с собою, сказал задумчиво и уже совсем нестрого:

— Надо помириться со стариками. Они-то мало в чем виноваты. Честные, хорошие люди.

Ленин не хотел было напоминать Степанову о случившемся, но как-то само собой получилось, что разговор с первых же слов завязался вокруг вчерашнего.

— Николай Матвеевич! — говорил Ленин.— А об охоте мы так и не условились? Может, двинемся в следующее воскресенье, а? Вот убьем медведя, тогда я к вам на пельмени сам напрошусь, а Сухаревку презираю и ненавижу! Слышите? Пре-зи-раю! Так и передайте Вере Спиридоновне от нас двоих.

— Так и передам, Владимир Ильич.



МЯЧ С ЗОЛОТЫМ ПОЯСКОМ

Людей идущих на прием к Ленину, как всегда, было много, и секретарь едва успевал «регулировать движение».

— Товарищ Соколова, это вы из Сибири?

— Из Сибири. У меня срочный вопрос.

— Проходите, Владимир Ильич о вас уже спрашивал.

— Товарищ Васильева, вы опоздали, вам придется подождать.

— Подожду, если надо.

— А вы, ребята, куда? — обратился секретарь к трем странного вида посетителям, в нерешительности остановившимся на пороге.

— К Ленину, — подавшись вперед, ответил один из них, вихрастый, на вид чуть постарше своих приятелей. — Он велел нам прийти в пять часов.

Секретарь, пожав плечами, поднес поближе к настольной лампе раскрытый блокнот.

— В пять, говоришь? Верно, в пять, но только не сегодня, а завтра.

— Мы завтра не можем, — за всех ответил тот же парнишка. — Сейчас пропустите... Ну пожалуйста...

В эту минуту дверь ленинского кабинета отворилась и вышел Ильич. Он удивленно глянул на ребят.

— Как?! Вы уже здесь?! Я отлично помню, мы условились на восьмое.

— У нас восьмого дела... Разрешите сегодня.

Ленин развел руками.

— Ну раз так, заходите, что же с вами поделаешь.

Владимир Ильич окинул извиняющимся взглядом сидящих в приемной людей.

Оказавшись в кабинете Ленина, ребята вдруг оробели, а Ильич, устало опустившись в кресло, спросил:

— Рассказывайте, что за дела.

— У нас будет сбор. — Вихристый достал из кармана листок с записями.

— Сбор? Какая повестка? — глаза Ленина сощурились.

— Чего?

— Я хочу знать, о чем на сборе говорить будете.

— Мы к Октябрьской годовщине готовимся, Владимир Ильич.

— Вот это молодцы! Что решать собираетесь?

— Подарки для бедных готовим.

— Для бедных?

— Да, для детдомовцев.

Ленин пристально поглядел на мальчишек. Худые, бледные, стояли они перед ним. Латаные отцовские пиджаки и гимнастерки неуклюже сползали с детских плеч.

Вчера, когда Ленин только познакомился и разговорился с ребятами, все это не так резко бросилось ему в глаза. Он подошел к ним в тот момент, когда они, забыв обо всем на свете, гоняли мяч по осенним лужам. Больше всего поразило его даже не то, что игра была не по сезону. Впервые в жизни видел он такой футбольный мяч — маленький, черный, взъерошенный, как мокрый щенок. Ильич не удержался от недоуменного вопроса:

— Ну и как? Удобно играть в такой мяч?

Не менее откровенным был и ответ:

— Что вы! Разве это мяч!..

Ленин в задумчивости постоял немного возле прекративших игру ребят, потом спросил:

— Живете далеко?

— Здешние мы, кремлевские, — сказал самый рослый из футболистов.

— Значит, соседи? Отлично. Ну а раз соседи, тогда вот что. Приходите ко мне послезавтра часов.... часов в шесть, а еще лучше в пять. Придете?

— А зачем? — удивленно спросил один из парнишек.

— Познакомиться хочу с вами поближе. Живем рядом, а совсем друг друга не знаем.

— Мы вас знаем...

— А если знаете, тем более! Приходите обязательно. Только не опаздывайте, я люблю точность.

— Точно придем, у Славкиного отца часы есть.— Вся команда посмотрела на самого маленького, особенно продрогшего футболиста...

— То, что пришли на целые сутки раньше, даже хорошо! А вот с этим как быть?— Ленин не отрываясь глядел на тонкие ребячьи, полубосые, конечно, отчаянно замерзшие ноги и молчал.— Значит, подарки решили собирать для самых бедных?

— Сегодня начали, Владимир Ильич. Уже пошли по квартирам.

— И Слава пошел? — спросил Владимир Ильич, не увидев в числе пришедших самого маленького из ребят.

— И Славка.

— Сколько же лет ему, вашему великану?

— Он почему-то не растет, Владимир Ильич, а ему лет много.

— Сколько же все-таки?

— Одиннадцать уже. Скоро будет.

— Да, конечно,— согласился Владимир Ильич,— совсем взрослый человек. А главное — сознательный.

После этих слов Ленин поднялся из-за стола, подошел к книжному шкафу.

— Ну а теперь получайте мой скромный подарок вашей команде.

Застекленная дверца распахнулась — к ногам

ребят выкатился новенький, перехваченный золотым пояском красно-синий мяч.

— Тоже не футбольный,— сказал Ленин,— но играть, по-моему, можно. Что скажут крупнейшие специалисты?

Ребята восторженно смотрели на мяч и молчали.

— Ну, смелей, смелей!— воскликнул Владимир Ильич, поднял и высоко подбросил мяч.

Только после этого три пары детских рук сплелись на новеньком мяче.

— Ну, а теперь ступайте. Видели, сколько там еще народу ждет?— спросил Ленин.

— Видели.

— То-то. И еще детдомовцы хотели прийти — может, те самые, которым подарки собираете.

Вышли ребята от Ильича, заглохли их частые шаги. затерялись в длинных кремлевских коридорах.

В кабинет Ленина один за другим стали входить новые посетители. Владимир Ильич внимательно выслушивал каждого из них, задавал вопросы, а сам, шагая по кабинету, как бы ненароком искоса поглядывал в окно. Очень хотелось ему увидеть, как бегают мальчишки за своим первым в жизни настоящим мячом.

Ребята долго не появлялись во дворе, и это удивляло Ленина. Но еще больше удивился он, когда футбольная игра наконец началась: под ногами ребят заметался все тот же растрепанный, старый мяч. Новый лежал рядом, на тротуаре, тускло поблескивая под дождем и снегом золотым пояском.

«Ничего не понимаю!..»— озадаченно подумал Ильич и, когда вышел посетитель, вызвал секретаря и подвел его к окну.

— Все ясно, Владимир Ильич. Берегут. Не каждый день получают нынче такие подарки.

— Согласен. Не каждый. И все-таки, пожалуйста, спуститесь к ним и скажите, пусть играют именно в новый. Иначе я обижусь.

Секретарь вышел. Через некоторое время он вернулся и, приоткрыв дверь в кабинет, доложил:

— Завтра, если подсохнет, будут играть в новый, Владимир Ильич. Договорились. А к вам тут пришли еще ребята — из детского дома. Можно пустить?

— Да, да! Конечно.

Пока дети входили, Ленин еще раз поглядел в окно, за которым начало быстро смеркаться.

Во дворе уже никого не было. Дождь вперемежку со снегом хлестал по редким островкам булыжин.

Шел октябрь двадцать первого года.





РЕПОРТЕР

Куда бы Ленин ни ехал, куда бы ни шел, везде и повсюду безмолвно сопровождал его один странного вида человек. Не молодой, не старый, не грустный, не веселый. Ленин потихоньку все приглядывался к нему, все думал:

«Кто таков? Зачем и откуда? Может, из охраны? Надо будет сказать Дзержинскому, чтобы категорически избавили меня от этих телохранителей».

Но чем пристальнее наблюдал Ленин за таинственным незнакомцем, тем больше терялся в догадках. Однажды не вытерпел и спросил:

— Извините, товарищ, что это вы там все время строчите?

— Информацию пишу в газету. Репортер я, Владимир Ильич, из «Правды».

— Репортер?! А я думал совсем другое. И признаться, даже хотел подать жалобу на вас. Но как к коллеге у меня к вам претензий пока нет. Только очень прошу, будьте всегда точны и аккуратны. В нашем деле иначе нельзя.

— Буду стараться, Владимир Ильич.

И в газете действительно печатались заметки без лишних слов, без всякой отсебятины. О выступлении Ленина перед ткачихами «Трехгорки», о его поездке в подмосковную деревню, где, пофыркивая синим дымком, переворачивал первые пласты чернозема первый в России трактор, о беседе с комсомольцами железнодорожного депо...

Но однажды все-таки произошла осечка.

Выступил как-то Ленин на одном важном собрании, а к нему в самом конце вдруг подошел репортер и спросил:

— Владимир Ильич, повторите, пожалуйста, в двух словах, о чем говорили вы здесь сегодня?

— То есть как это о чем? А вы где же были?

— Я опоздал...

— Не понимаю...

— Опоздал, Владимир Ильич. Трамваи не идут, току нет по всей линии.

— А как же вы? Способом пешего передвижения, стало быть?

— Стало быть, так. Сначала быстро шагал, потом уморился — и вот...

Ленин внимательно поглядел на смущенного репортера и тут впервые заметил: он не то что «не молодой, не старый», а именно старый, совсем-совсем старый, совершенно седой человек.

— И все-таки опаздывать не годится.

Репортер не мог сразу и в толк взять, шутит Ленин или говорит серьезно.

Но Владимир Ильич не шутил. Он еще раз поглядел на репортера и сказал без тени иронии:

— А теперь отойдем в сторонку, запишем, о чем разговор у нас был с рабочими.

Они уединились в конторке начавшего быстро пустеть цеха и вышли оттуда не скоро.

Вечерняя смена давно заступила, в пролетах снова стало шумно и дымно, а Ленин и репортер все разговаривали. Вернее, говорил один, второй быстро писал, едва успевая перевертывать листки блокнота.

Когда Ленин кончил диктовать, кончилась и записная книжка репортера.

— Вот жалко,— сказал Ильич,— всего одной-единственной странички не хватило, и у меня с собой, как на грех, ни листочка!

— Владимир Ильич, диктуйте, я запомню, а в редакции все запишу слово в слово,— попросил репортер.

— Нет, нужна бумага, в нашем деле без бумаги нельзя,— улыбнулся Ленин.

Тут дверь конторки тихонечко отворилась, вошел начальник цеха, протянул репортеру

пропитанный маслом клочок зеленой линованной бумаги — видно, бланк для наряда.

— Нет, нет, это мне,— остановил его Ленин.

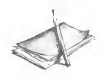
Ильич резким движением пододвинул к себе табурет, сел за крохотный шаткий столик начальника цеха, размашисто написал на зеленом листке несколько слов, протянул записку репортеру:

— С этим завтра же зайдите в Совнарком, к управляющему делами.

Сказав эти слова, Владимир Ильич пожал руку начальнику цеха, репортеру и уехал.

Через несколько минут покинул задымленную конторку и репортер. Утром следующего дня с запиской Ильича он направился в Совет Народных Комиссаров. В той записке было сказано, что в распоряжение корреспондента «Правды» необходимо выделить лошадь с упряжкой, что человек он немолодой и что трудно ему целыми днями бегать по заданиям редакции.

Ленин ошибся, может быть, первый раз в жизни: никогда еще репортер не чувствовал себя таким молодым, таким бесконечно неутомимым человеком, как сегодня!





НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Воскресенье под вечер в квартиру Василия Сергеевича Бармина постучали как-то необычно. Так никто в семье профессора не стучал.

— Кто́ тут? — не отворяя двери, спросила Мария Павловна.

Голос пришедшего был еще более деликатным, чем его стук:

— Не знаю, как вам и сказать. Я немножко знаком с товарищем Барминым.

Щелкнул замок. Из синего полумрака лестничной клетки навстречу Марии Павловне шагнул невысокий человек в пальто с поднятым воротником:

— Дома товарищ Бармин?

— Василий Сергеевич ушел к больному. А вы на что жалуетесь?

— Врачи утверждают, что у меня миллион всяких болезней, но если я и могу на что-нибудь жаловаться, так это на невезение. Хотел просто повидать товарища Бармина, сказать ему несколько слов. Очень обидно, что не застал!

— Может, подождете? Он обещал не задерживаться — нынче день как-никак воскресный, хотя бывает, конечно, всякое.

— Откровенно говоря, и у меня еще уйма всяких дел.

— Ну, как знаете.

— Если можно, дайте, пожалуйста, чернила и ручку.

— Вот стол Василия Сергеевича. Здесь все найдете.

Мария Павловна ушла за ситцевую занавеску и тут же вернулась с высокой медной коптилкой. От зыбкого света заметались острые тени по всем углам маленькой, тесно заставленной комнаты.

— Садитесь и пишите.

— Благодарю вас.

Хозяйка снова вышла. Незнакомец сел за стол и, глядя в потемневшее окно, затянувшееся изморозью, задумался.

«Вот странно,— удивилась Мария Павловна,— сказал, что торопится, а сам...»

Будто угадав ее мысли, человек зашуршал бумагой, а еще через минуту поднялся, подошел к занавеске, стал прощаться.

— Я у вас тут наследил, наверно, и вообще нагрянул не ко времени.

— Что вы!— сдержанно, но учтиво ответила хозяйка.— У нас всегда люди.

— А я все-таки чувствую себя неловко, тем более что живете, как погляжу, и в тесноте и, наверное, чуть-чуть в обиде. Сколько у вас раньше было комнат?

— Пять.

— А сейчас?

— Одна.

— Вот видите, значит, в обиде.

— Но на то есть своя причина.

— Какая же?

— Революция. Все сразу разве может наладиться. А вы как думаете?

— Признаться, я думаю примерно так же, но ведь профессор Бармин не буржуй какой-нибудь, у него же руки золотые, он много работает.

— Это верно,— вздохнула хозяйка.— Честно говоря, я на месте властей выделила бы ему комнату для работы — одну-единственную.

— Невзирая на революцию?

— Невзирая.

— Совершенно согласен с вами. И уверен, как только революция немножко разбогатеет, она не поскупится для таких людей, как товарищ Бармин!

— Вы в этом уверены?

— Совершенно уверен!

— Ну дай вам бог доброго здоровья!

— Ручаюсь, что в бога вы не верите,— усмехнулся незнакомец, уже переступая порог.

— Это к слову. Как же все-таки мне рассказать о вашем приходе мужу?

— Расскажите все как было: заявился, мол, в неурочный час, нарушил порядок в доме и страшно спешил. Но, говоря по совести, есть у меня одно смягчающее вину обстоятельство — я действительно очень занят, а в воскресенье почему-то особенно. Всего вам доброго!

— Будьте здоровы...— Мария Павловна недоуменно пожала плечами.

Василий Сергеевич вернулся в тот день гораздо позднее, чем предполагал.

Мария Павловна уже начала сердиться на вечно занятого мужа. Она даже забыла сказать ему о странном посетителе.

Только утром, собираясь в клинику, профессор обнаружил у себя на столе незнакомую книжку.

— «Ленин. Великий почин»...— прочитал он на обложке.

На титульном листе дарственная надпись от автора.

— Кто это был у нас вчера, Вася,— спросила Мария Павловна.— Что за человек такой?

— Вот именно, Машенька,— человек! Ты же у меня умница, всегда находишь слово самое лучшее, самое точное!— Бармин помолчал и добавил:— Самый настоящий человек из всех, кого я встретил за свои семь десятков.





РЫЖИЙ ЛЁНТЯ

Сиротская судьба привела Лёнтю под крышу детского дома. Нелегко и здесь приходилось мальчишке. Черный сухарь, жидкая похлебка к обеду. И еще работа — дежурство, уборка, слесарное дело.

«Но все-таки детдом не асфальтовый котел,— думал Лёнтя,— жить можно».

Особенно повеселел бывший беспризорник в тот день, когда директор сказал за обедом:

— Крупу нам прислали. Целый мешок. От Ленина.

Директор не просто сказал — притащил мешок из кладовки, торжественно развязал его на глазах у ребят.

Все население дома столпилось вокруг мешка. Каждый норовил поглубже запустить руку в его содержимое, но ни одна крупинка на пол не упала. Лёнтя смотрел на крупу, медленно стекавшую сквозь растопыренные пальцы директора, и никак не мог понять: откуда взялась она в голодной Москве?

А на другой день произошло еще одно чудо. Завхоз, снаряжая ребят в баню, выдал каждому по куску настоящего мыла. Отмокая в теплой банной воде, пахнувшей березовым листом, окунаясь в нее с головой, Лёнтя сказал мывшемуся рядом мальчишке:

— Может, Ленин и насчет белья распоряжение даст? Вот было бы здорово!

— «Здорово, здорово»! — передразнил его сосед и озорно плеснул Лёнте мыльной пеной в глаза.— Не болтай, отмывай свои конопушки.

Каково же было удивление ребят, когда в предбаннике они увидели завхоза с охапкой ослепительно белых рубах!

— Получайте, граждане, новое обмундирование. Солдатское. По личному распоряжению товарища Ленина.

Лёнтя обрадовался больше всех. Он хоть и не мог толком понять, почему не сам Ленин, а его товарищ позаботился о белье, но сейчас

было не до рассуждений. Завхоз объявил, что время, отпущенное детдому, кончилось и через три минуты все должны быть на улице.

Рубахи оказались ребятам не по размеру, особенно Лёнте, но, шагая по морозу, съежившись, стараясь подольше сохранить банное тепло, Лёнтя улыбался и думал о счастье, хотя и не знал еще, каким оно бывает. «Может, счастье — зто когда человеку не холодно? И не только после бани, а каждый день?» С зтой мыслью он добрался до детского дома, она согревала его потом еще долго, весь вечер, всю ночь, и только утром, когда пришла пора вылезать из-под одеяла, Лёнтя сказал:

— Сейчас бы в баню...

Шутка была грустной, но на нее отозвалось сразу несколько голосов:

— Ай да новенький! Рыжий, а соображает!

Лёнтя не ответил, хотел обидеться, но не успел — в комнату вошел директор, построил наскоро одевшихся ребят и объявил, что в детдом собираются шефы. Слово «шефы» было малопонятно, а точнее, совсем непонятно Лёнте, он даже поднял руку, чтобы спросить директора, но кто-то вовремя дернул его за рукав и шепнул:

— Шефы — зто дрова!

За спиной Лёнти раздался смех, но вечером вместе с другими мальчишками он рисовал плакат: «Добро пожаловать, дорогие шефы!»

Шефы, человек десять — двенадцать рабочих соседнего завода, пришли в субботу, когда ребята, сидя за столом, погромыхивали пустыми мисками,— дрова были сырые, осиновые, ужин, как всегда, запаздывал.

Пожилая женщина в самодельных тряпичных валенках первой приблизилась к ребятам.

Лёнтя не помнил своей матери, но ему сейчас почему-то подумалось, что она была такой же, как эта женщина,— улыбающейся, немного сгорбленной, чуть-чуть седой. И руки у нее, наверно, были такие же — грубоватые, смуглые, уставшие от работы.

Женщина помолчала, поглядела в пустые миски и сказала:

— Так вот что, ребята. С этого дня у каждого из вас будет семья. Понятно?

— Нет, непонятно...— ответил ей Лёнтя, как будто вопрос был обращен к нему одному.

— А чего же тут неясного? Разберем сейчас всех по домам. Будет вам все-таки немного получше.

— Это что же, насовсем берете или как?— подал голос кто-то из дальнего угла.

— Ну, пока на воскресенье, а там видно будет. Согласны?

Директор стоял за спинами пришедших рабочих и подавал знаки ребятам, но они смотрели только на эту женщину, не зная, что говорить.

— Ну так как же?— повторила она свой вопрос.

— Молчание — знак согласия!— за всех ответил директор.

Кто-то облегченно вздохнул:

— Правильно.

— Ну вот видите, как хорошо!— Женщина в тряпичных валенках обернулась к директору:— А вы к понедельнику тут истопите немного. Сухие дрова будут сегодня же — наш литейный цех специально на субботник ушел.

— Истоплю,— ответил директор и повел шефов дальше — на кухню, в спальню, в мастерскую.

Шефы осмотрели все комнаты, обследовали все уголки детдома, записали что-то и ушли. Каждый увел с собой двух-трех ребят.

В доме стало вдруг непривычно пусто и както особенно холодно.

Когда директор, проводив всех, вернулся в дом, он не сразу заметил, что в спальне, в самом темном ее углу, насупившись, сидел рыжий Лёнтя.

— А ты что же? Где же ты был?! — воскликнул директор.

— А я никуда не пойду,— равнодушно ответил тот.

— Это почему еще? Что это за фокусы?..

— Не фокусы. Мне и тут хорошо. Дежурный я. Завтра буду с вами печку топить.

— Дежурный? — удивился директор.— Впрочем, это тоже неплохо. Мне одному тут не управиться.

Поздно ночью директор и Лёнтя разгружали с саней, кололи и складывали в сенцах присланные литейщиками дрова. Спать легли только под утро.

И приснился мальчишке в ту ночь, вернее, в остаток той ночи, удивительный сон.

...Только было пригрелся Лёнтя под тремя одеялами, взятыми с пустых коек, в наружную дверь постучали. «Неужели,— подумал,— наши так быстро от шефов воротились?» Отбросил одеяла, босиком побежал отворять. Снял ржавый крючок с петли и вздрогнул: на пороге прямо перед ним стоял Ленин — точно такой, каким Лёнтя уже давно его себе представлял:

высокий, в военной шинели и сапогах. Вошел, поздоровался и спрашивает:

«А ты кто тут такой?»

«Я Лёнтя. Наши все к шефам уехали».

«К шефам? А ты что же?»

«Я дежурный».

«Дежурный? Ну-ка, показывай мне свои владения».

Лёнтя повел Ленина по комнатам.

«Вот мастерская. Вот столовая. Вот спальня — видите, наш директор как крепко спит? Не будите его, устал он очень. Всю ночь со мной шефские дрова колол».

Ленин подул в кулаки, поежился.

«А у тебя здесь нежарко! Где же твои дрова?»

«Мы хотели топить поближе к приходу наших, чтобы не выстудило, но могу и сейчас».

«Топи, конечно! Я-то человек привычный, а ты тут и сам промерзнешь насквозь, и всех остальных заморозишь».

Лёнтя приволок охапку поленьев, растопил печурку, поставил перед ее железной дверцей скамейку.

Ленин сел рядом с Лёнтей:

«Как, говоришь, тебя зовут-то?»

Лёнтя ответил не сразу. Помолчал, поежился.

«Рыжим меня ребята зовут. Но по-правдашнему я Лёнтя. Так даже у директора в книжке записано, можете посмотреть».

«Верю и без книжки. А почему же все-таки, Лёнтя, шефы тебя с собой не взяли?»

«Вам честно сказать?»

«Ну разумеется, только честно».

«Да оттого, что рыжий, вот и не взяли! Это я точно знаю...»

Ленин рассмеялся. Но не обидным смехом, а так, легонечко.

«Что не взяли, это действительно, Лёнтя, очень досадно, а что рыжий, так это же сущие пустяки!»

Ленин посидел несколько минут молча, потом задумчиво провел рукой по своим вискам и сказал:

«А теперь, Лёнтя, едем ко мне, чаю попьем. Хочешь?»

«Чаю?.. А сахар у вас есть?»

«Сахар? Думаю, что немного найдется».

«Тогда едемте! Я не помню, когда с сахаром пил...»

«Одевайся скорее! А ребятам я непременно скажу, чтобы рыжим тебя больше не звали — только Лёнтей. Согласен?»

«Ага!..»

Плохие сны снятся всегда до конца, даже с продолжением. Хорошие всегда обрываются на самом важном и интересном месте. Вот и этот оборвался не ко времени.

Лёнтя раз десять отчаянно пробовал поплотнее укутаться одеялами, перекладывая с места на место шуршавшую соломой подушку, но сон больше не приходил.

А тут еще половицы — скрип-скрип, скрип-скрип...

Открывает Лёнтя глаза — перед ним директор стоит. Веселый, торжествующий:

— Вставай, дежурный, скоро наши явятся — пора печку топить! Шефы звонили, сказали, что дров нам еще привезут.

Вскочил Лёнтя с кровати, побежал умы-

ваться, как его директор учил. Умывшись, мельком глянул в разбитое зеркало и невольно улыбнулся — ему показалось вдруг, что вовсе он и не рыжий. Это просто первый солнечный луч в его давно не стриженных вихрах заблудился.





ОПЕРАЦИЯ

Весной 1922 года здоровье Ленина стало резко ухудшаться. Начались приступы головных болей, наступила изнуряющая бессонница.

Владимир Ильич никому не жаловался, только сетовал на то, что не успевает за день сделать все намеченное.

— Устал ты, Володя. Очень устал,— говорила Надежда Константиновна.— Тебе бы сейчас знаешь куда? В Альпы. Гуральский топорик в руки, и айда путешествовать. Нужно подышать горным воздухом хотя бы неделю. Я знаю, это пока неосуществимо, но дай мне слово, что при первой возможности...

— Да, да, Наденька, да, при первой возможности направимся с тобой куда-нибудь в горы. Впрочем, если вдуматься, Кремль ведь стоит на горе, и воздух там, следовательно, горный! А тут, среди этих берез и елей, на крутых тропках, бегущих к Пахре? Само название чего сто́ит — Горки!

Крупская понимала, спорить с Ильичем в данном случае бесполезно, но состояние мужа внушало ей все бо́льшие опасения. Она советовалась с крупнейшими медиками, просила их принять все самые решительные меры к тому, чтобы избавить Владимира Ильича от мучений.

Врачи говорили, что все беды происходят от чрезмерной перегрузки работой и что, конечно, последствия ранения еще долго будут сказываться.

Как известно, Ильич был ранен двумя пулями. Одна, раздробив левую ключицу, засела глубоко в грудной клетке. Другая, пробив верхушку левого легкого, остановилась в шейных мышцах.

В апреле из Берлина был приглашен профессор-терапевт Клемперер. Он приехал срочно. Осмотрев больного, высказался за то, чтобы эта вторая пуля была изъята, так как именно она, по его мнению, может быть причиной головных болей. Другой берлинский профессор-

хирург, Борхардт, и наш отечественный специалист Розанов, тоже опытнейший хирург, однозначного ответа сразу не дали. Ведь пуля, засевшая в человеческом теле, обрастает плотной тканью, которая обволакивает любой инородный предмет. В то же время инородное тело все-таки есть инородное тело.

— Будем думать все вместе и каждый в отдельности,— сказал Розанов после первого дня консультаций трех врачей.— Тут есть о чем подумать.

Когда об этом доложили Ленину, он ответил:

— Давайте взвесим все «за» и «против». И медики пусть посоветуются, и их пациент поразмышляет.

Он именно так и выразился — «пациент», а не «больной».

На том и порешили.

В ту ночь много часов подряд Ленин листал медицинские книги. Делал закладки, выписки, а наутро, явно повеселевший, попросил Надежду Константиновну передать врачам, чтоб они к нему больше «не приставали» с этой операцией.

— Клемперер все-таки настаивает на оперативном вмешательстве, Володя. И профессор Борхардт склонился к точке зрения Клемперера.

— А Розанов? — спросил Владимир Ильич.— Он же, как я понял, вовсе не сторонник операции, скорее наоборот...

— Я только что говорила и с ним. Он сказал, что окончательный совет они будут держать после разговора с тобой. А в общем-то, ты хочешь знать, какого он мнения?

— Он обещал подумать, Наденька.

— Подумал, Володя. Всю ночь думал. Все

от тебя зависит, говорит. Как ты скажешь, так и будет. Весь его опыт, все уменье его — к нашим услугам.

— С каких это пор врачи стали такими покладистыми? Первый случай в моей жизни!

— Это особый случай, Володя. Исключительный. Розанов подчеркнул несколько раз — от тебя все зависит. Через час они позвонят и спросят о твоем решении.

Ленин посмотрел на часы:

— Хорошо. Если нужно, я готов оперироваться хоть сию минуту. Так и скажи им. Я понимаю, иностранцам надо, очевидно, домой торопиться?

— Они оба заявили, что пробудут в Москве столько, сколько потребуется.

Ровно через час последовал звонок от Розанова. Надежда Константиновна сообщила ему, что Владимир Ильич целиком и полностью полагается на него и его коллег. Розанов на это ответил, что в таком случае завтра положение пуль будет еще раз проверено в рентгеновском кабинете Института биологической физики, и попросил разрешения с утра заехать за Владимиром Ильичем.

На другой день в условленное время Ленин и Розанов отправились в институт.

По дороге Владимир Ильич спросил профессора:

— Что же вы, товарищ Розанов, так быстро меняете свою позицию? А? Я на вас так надеялся, а вы взяли и капитулировали! Как понять вас?

— Владимир Ильич, в нашем деле, как ни в каком, наверно, другом, актуальна пословица — семь раз отмерь, один раз отрежь. Я да-

же уверен, что ее именно хирурги и придумали.

— Интересная мысль, интересная, хотя и не новая!— воскликнул Ильич и задумался.

Уже во дворе института, выходя из машины, глянув на Розанова, Ленин повторил:

— Любопытнейшая мысль. Хирурги, говорите, придумали? Вполне возможно. Впрочем, вы знаете, политики ее тоже могли придумать, вы не находите? Я имею в виду честных политиков.

Розанов был сосредоточен на другом:

— Нам надо торопиться, Владимир Ильич. Вот сюда, пожалуйста. А теперь сюда...

Из института они ехали опять вместе.

— Ну, что вы там увидели, товарищ Розанов?— Ленин дотронулся до своей груди.— Ведь давно известно, где и как сидят эти пули. Не путешествуют же они?

— Нет, конечно, Владимир Ильич, не путешествуют. Но немного менять свое положение иногда могут. Вот мы и решили на всякий случай перед самой операцией...

— Кстати, на какой день она назначена?— довольно равнодушно спросил Ленин.

— Мы хотели просить вас дать свое согласие на утро 23-го, то есть на завтра, Владимир Ильич. Операция будет производиться под местным наркозом, займет примерно полчаса — минут сорок. Оперировать будет Борхардт, а я взялся быть его ассистентом. Вы можете приехать в Солдатенковскую больницу к девяти утра?

Ленина устроили все эти условия. Особенно он был удовлетворен тем, что Розанов, которого он так ценит и так уважает, будет лично принимать участие в операции.

— Вы добрый, гуманный человек, товарищ

Розанов. У меня завтра очень напряженный день. Вы представить себе не можете, сколько дел запланировано на завтра!

Розанов упрямо покрутил головой:

— Если вы думаете, что мы вас сразу отпустим, то глубоко заблуждаетесь, Владимир Ильич. Будем стараться побыстрее, но...

— Значит, зря я вас похвалил, товарищ Розанов. Никакой вы не гуманный и не добрый.

— Врачей вообще ни хвалить, ни благодарить не полагается, особенно прежде времени, Владимир Ильич.

Утром 23-го машина с Лениным и Розановым въехала в длинный двор Солдатенковской больницы, остановилась у хирургического отделения. Пройдя по лабиринту полутемных коридоров, они оказались в залитой матовым светом операционной. На белой металлической тумбочке полыхала васильковым огнем спиртовка, остро пахло эфиром, камфарой. В никелированной ванночке клокотала вода, перекатывая с места на место шприцы и ланцеты.

Ленин, поздоровавшись с врачами и сестрами, спросил, не заставил ли себя ждать.

— Что вы, Владимир Ильич!— вырвалось у кого-то.— Минута в минуту!

Скоро Ленин оказался на операционном столе. Обезболивающие уколы перенес спокойно — ни один мускул не дрогнул на его лице.

Ему положительно нравилось, как четко, слаженно работали люди в белых халатах, он любовался ими в эти минуты, хотя из лежачего положения не все достаточно хорошо было видно. О многом скорее догадывался — не первый раз имел дело с врачами.

Вот он отчетливо услышал, как тяжело и звонко что-то звякнуло, ударившись о дно эмалированного лотка, подставленного одной из сестер. Не «что-то», а пуля, самого себя поправил Ильич, самая настоящая, черт возьми!

Вслед за этим звуком вырвался вздох облегчения у Розанова, Борхардта, у всех, кто участвовал в операции,— это Ленин тоже очень хорошо слышал.

Когда начали накручивать длинные бинты, Владимир Ильич попытался было спросить, как идут дела, но сестра, стоявшая так, что взгляд ее все время встречался с его взглядом, красноречиво приложила палец к губам, и он покорно умолк.

— А вот теперь можно!— через какое-то время воскликнул Розанов, видно довольный не только работой врачей, но и поведением Ленина.— Что вы хотели спросить, Владимир Ильич?

— Покажите мне эту дрянь, пожалуйста,— Ленин протянул руку.

На ладони его оказалась злосчастная пуля. Он слегка подбросил ее, как бы взвешивая.

— И только-то! Стоило из-за такой мелочи подымать шум на всю Россию,— Ильич посмотрел на Розанова.— И на всю Германию,— он перевел взгляд на Борхардта.

— Как вы себя чувствуете, Владимир Ильич?— спросил Розанов.— Не больно? Скоро начнет отходить заморозка.

— Я чувствую себя, как бы вам сказать? Хорошо, совсем хорошо, прекрасно даже, но неловко. Стольким людям причинил уйму хлопот! И все из-за какой-то дурацкой железки. Верно сказано — пуля дура...

И вдруг без всякого перехода задал вопрос, относящийся непосредственно к Розанову:

— Сколько я здесь пробуду, товарищ Розанов? Вы обещали отпустить меня быстро.

— Я так не говорил, Владимир Ильич, вы неверно меня поняли.

— Ну а все-таки? — настаивал Ленин.

— Прежде всего, мы отправим вас в палату, Владимир Ильич. Там и поговорим обо всем.

На носилках Ильича перенесли на второй этаж, поместили в отдельной палате. Это была маленькая угловая комната. Железная койка, тумбочка, два стула.

Когда все ушли и остался только Розанов, Ленин сразу же заговорил о том, что его волновало в эту минуту:

— Больница перегружена, товарищ Розанов, а вы мне такие апартаменты выделили.

— Не так уже и перегружена, Владимир Ильич. Нормально...

— Нормально? Больные лежат в коридорах, я же видел. Нет, нет, нет, товарищ Розанов, меня не надо вводить в заблуждение. И потом, я уже сказал вам — работы вот столько! — он провел рукой по белому бинту на шее, и острая боль отразилась на его лице.

Розанов заметил это:

— Вот видите! Отдохните после операции, Владимир Ильич. Сейчас вам сделают еще один укол, и поспите. Чем больше будете спать, тем лучше.

Поздно вечером профессор снова сидел возле койки Владимира Ильича.

— А вы мне нравитесь, — сказал Розанов после осмотра Ленина.

— И мне тоже! — поддержал пришедший к

Ильичу главный врач больницы Соколов.— Температура нормальная, пульс приличный, давление налаживается.

Ленин удовлетворенно заметил:

— Раз мы друг другу так нравимся, значит, договоримся!

— Что вы имеете в виду, Владимир Ильич?— спросил Розанов.

— Очень простую вещь, товарищ Розанов. Я ваше указание выполнил? Выполнил! Выспался так, как давно уже не высыпался. Обещаю вам и ночь провести хорошо, но при одном условии. Непременном.

— При каком же, Владимир Ильич?

— Завтра будем думать о разгрузке больницы. У меня созрел целый план. Начнем, конечно, с этой палаты. И именно завтра. Вы меня поняли, товарищ Розанов? И вы, товарищ Соколов?

Оба вынуждены были ответить, что поняли.

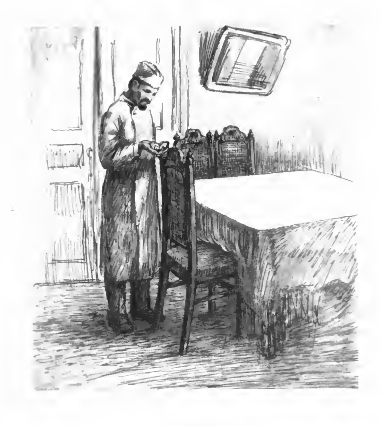
— Ну, я же знал, мы обязательно договоримся!— воскликнул Ильич.

На следующий день, 24 апреля, после перевязки Ленин уехал домой. Его опять сопровождал Розанов.

По дороге Ленин долго молчал, о чем-то сосредоточенно думая, и только в самом конце пути повторил вчерашнюю фразу:

— Целый план, товарищ Розанов, целый план! С этой Солдатенковской больницей надо что-то делать.





ПЯТЬ МИНУТ

К концу 1922 года здоровье Ленина все больше и больше ухудшалось. Сильный когда-то организм слабел. Все это хорошо видели, но никто не хотел с этим мириться. Прежде всех, конечно, сам Ленин: чем хуже ему становилось, тем на-

стойчивей боролся он за выздоровление. Ему нельзя было волноваться — читать, писать, встречаться с людьми. Он же рвался к работе.

— Мне сегодня легче! — решительно объявлял он даже тогда, когда «легче» не было.

Сразу за этим следовала просьба срочно послать за какой-нибудь книгой или немедленно соединить по телефону с каким-нибудь человеком. Так бывало уже не раз в последние недели. Так было и сегодня.

— Как вы себя чувствуете, Владимир Ильич? Вам лучше после новых моих порошков? — войдя утром к Ленину, спросил врач.

— Спасибо, доктор, лучше! Как только вас увижу — чувствую себя исцеленным.

— Очень, очень польщен, Владимир Ильич! Рад безмерно! — воскликнул врач, взяв руку Ленина в свою, щелкнув крышкой карманного серебряного «Лонжина» и сосредоточившись на его секундной стрелке.— Значит, надо мне чаще тут появляться. Я бы с удовольствием, Владимир Ильич, совсем на время переселился в эту комнату. Нам с вами места много не надо, правда ведь? Вон возле той стены можно пристроить еще одну небольшую кровать. Согласны?

— Ни в коем случае, доктор! Абсолютно исключается.

Врач удивился:

— Я не помешал бы вам, Владимир Ильич. Вел бы себя точно по пословице — «Тише воды, ниже травы».

— Вы-то не помешали бы мне, я бы вам помешал. Сам не сплю и другим не даю.

— Сегодня опять плохо спали? — спросил

врач, хотя и без того знал — ночь была бессонной, тревожной.

— Сегодня-то как раз ничего, особенно под утро. Без четверти четыре уже сон видел...

Ленин понял, что проговорился. Если человек с точностью до минуты знает, когда заснул, значит, вряд ли он спал вообще.

Врач, однако, сделал вид, что не заметил оплошности своего пациента, и даже попробовал поднять его настроение:

— То-то, я смотрю, вид у вас совсем другой, не то что вчера или третьего дня, Владимир Ильич.

— А пульс? Как ведет себя непостоянный товарищ?

— И пульс получше. Дайте-ка еще разик проверим на всякий случай.

Снова щелкнула и сверкнула серебром крышка «Лонжина». Снова услышал Ленин полные оптимизма слова:

— Я вами доволен, Владимир Ильич.

Едва приметная улыбка шевельнула бледные щеки Ленина. Он сказал:

— Мы квиты, доктор.

— Не понимаю, Владимир Ильич,— признался врач.

— Вы сегодня прелестны, как никогда, доктор. Впредь буду рабски выполнять все ваши предписания.

— Ну зачем же «рабски»?— спросил врач.— Рабов у нас теперь нет, Владимир Ильич.

Ленин на мгновение задумался, поднял на врача грустные и в то же время торжествующие глаза:

— Прекрасно, что слова эти вы, беспартийный интеллигент, говорите мне, профессио-

нальному революционеру. Превосходно! Но я должен по секрету сказать вам: один раб в России все же остался. Ваш покорный слуга. Повелевайте мной, доктор, я в ваших руках целиком и полностью.

Услышав такое, врач приготовился к очередному наступлению со стороны больного. И не ошибся. Только никак не мог предположить, что наступление это будет таким мощным, неостановимым и начнется сразу же, почти без подготовки.

Ленин теперь уже не сводил с врача своего полугрустного-полуторжествующего взгляда. Врач едва успевал отвечать на вопросы больного.

— Хотите, доктор, чтоб пульс был лучше? Лучше, чем вчера, чем третьего дня?

— Конечно, дорогой Владимир Ильич, конечно!

— А чтоб пациент ваш спал более или менее сносно?

— И об этом мечтаю и пекусь, вы знаете.

— Ну и отлично! Тогда выслушайте меня внимательно, доктор, но не через трубочку вашу и не с помощью «Лонжина». Им не всегда полностью доверять следует. Выслушайте, как человек человека. Могу об этом просить?

— Разумеется, Владимир Ильич, разумеется...— все так же искренне, но уже более сдержанно ответил врач.

— Давайте договоримся по-доброму. Я буду исправно лечиться, а мне будет предоставлено право работать. Регулярно, систематически. Да, да! Не смотрите так удивленно. Настаиваю на праве ежедневно работать, пусть самое короткое время. Тогда все хвори быстрей уйдут, уверяю вас, доктор.

— Что вы имеете в виду, Владимир Ильич?— Цепочка, на которой врач носил часы, перекрутилась жгутом, словно и ее удивили слова больного.— Книги вам носят? По телефону соединяют?

— «Носят», «соединяют» — спасибо! Но я должен приступить к гораздо более активным делам. И вы эту возможность дадите мне, доктор. В противном случае все ваши лекарства...

Фраза осталась недоговоренной, но в то же время в ней все было сказано.

— Это что, ультиматум?— спросил оторопевший врач и, не дождавшись ответа, вынужден был сам ответить на собственный вопрос:— Ультиматум. Я понял вас, Владимир Ильич.

— А раз поняли, соглашайтесь!— тихо, но твердо сказал Ленин.

— Я понял, что́ вы имеете в виду,— уточнил врач,— но выполнить вашей просьбы пока не могу, Владимир Ильич, не имею права.

— В таком случае переговоры наши заходят в тупик. А жаль — мы вполне могли бы договориться.

Ленин бросил на врача взгляд, в котором категорическое требование соединилось с деликатнейшей просьбой, почти с мольбой.

Вслух больной сказал своему врачу:

— Стоит ли из-за таких пустяков терять дружбу и препираться?

— Как это из-за «пустяков»? Это не пустяки, Владимир Ильич...

Не дав врачу договорить, Ленин приподнял над одеялом руку с плотно сжатыми пальцами. Жест был достаточно выразительный, но Ильич решил все же расшифровать его с предельной ясностью:

— Пять минут, доктор. Всего пять минут в день, понимаете? Пя-ать. И соглашайтесь, пока не выдвинул более серьезных требований. Гораздо более серьезных, предупреждаю.

«Еще один ультиматум,— подумал врач.— Два ультиматума подряд — не много ли? Многовато. То ли еще будет дальше! Придется, видимо, пойти на маленькие уступки».

— Пять минут, говорите? Я правильно вас понял, Владимир Ильич? Ловлю вас на слове — ровно пять!

— Правильно, доктор. Хоть пять для начала, прошу вас.

— На это соглашусь, пожалуй, Владимир Ильич. Но только на пять и ни на одну минуту больше, учтите. И то в виде исключения. И никаких «гораздо более серьезных требований», пожалуйста, не выдвигайте, Владимир Ильич. Я не железный.

— Не железный,— согласился Ильич.— Просто хороший, очень хороший человек. Спасибо вам, доктор, огромное!

В комнате стало тихо, так тихо, что слышно было, как перебирает своими шестеренками докторский «Лонжин».

Тишину первым нарушил Ленин, и самым неожиданным вопросом:

— А когда можно начать, доктор? Дел у меня накопилось много, и все срочные.

— Во всяком случае, не сегодня, Владимир Ильич, вы утомились, я же вижу. С меня и то семь потов сошло.

— Если бы мы меньше спорили, больше сил осталось бы для работы, доктор.

— Значит, во всем виноват стрелочник? Так, Владимир Ильич, получается?

— Оба виноваты. Оба, доктор. И вместе давайте исправляться. Хочу изложить вам свой план, послушайте. Я статью тут одну пишу для «Правды». Уже несколько дней подряд...

— Статью?..— удивился врач.— Когда пишете?

— По ночам чаще всего, когда теряет бдительность сестра или когда не спится. Сегодня, правда, совсем немного писал.

— До без четверти четыре?— осуждающе заметил врач.— Сознавайтесь... Вам же запрещено было.

— Правильно — было. Я тоже ловлю вас на слове, доктор. Было! А теперь мне лучше, вы же сами установили. Вот и пишу. В голове, конечно,— он опять выпростал из-под одеяла руку,— а сейчас вызовите мне, пожалуйста, стенографистку.

Врач в очередной раз отступил перед больным. Но отступил с предельной осторожностью. Перед тем как дать согласие на вызов стенографистки, спросил:

— Материал, надеюсь, не секретный, Владимир Ильич?

— В том-то и дело, что секретный. Совершенно секретный, доктор...

— Вы же сказали, что статью будете диктовать. Разве бывают секретные статьи?

Ленин смутился, но только на мгновение:

— Вы знаете, доктор, иногда бывают. В первом варианте. Так что, когда начну диктовку, вы уж меня извините...

— О, разумеется, разумеется, Владимир Ильич!— воскликнул врач, но на всякий случай красноречиво подбросил в ладони цепочку «Лонжина». Выйти-то из комнаты я, мол, вый-

ду, но дальше — ни шагу, имейте в виду. Как прикованный цепью будут сидеть под вашей дверью.

Тяжелый вздох вырвался из груди больного. Но если быть совершенно точным — он торжествовал: пусть крохотная, но опять победа. Где пять минут, там и десять, где десять, там и все полчаса. А главное — работа начинается сегодня же, совсем скоро!

Спустя какое-то время пришла к Ленину стенографистка. Врач сразу вышел, плотно притворив за собой чуть скрипнувшую дверь.

Ленин приступил к делу и, конечно, не заметил, как прошли, промчались отпущенные ему драгоценные минуты.

Скоро дверь снова скрипнула — на пороге стоял неумолимый доктор:

— Все, Владимир Ильич. Все, все, все! Уговор дороже денег.

Стенографистка собрала свои бумаги, стала прощаться:

— До свидания, Владимир Ильич. До свидания, доктор.

— До завтрашнего утра,— уточнил Ленин и сказал, что завтра они поработают, может быть, немного больше.

— Я могу на это рассчитывать, доктор? Или нет?

— Ничего определенного обещать не могу,— ответил тот.— Все будет зависеть от вас, от вашего самочувствия, Владимир Ильич.

— Самочувствие будет хорошим. Сон — нормальным. Пульс — ритмичным, глубокого наполнения,— уверил больной врача. И, дождавшись, когда стенографистка вышла, доба-

вил: — Особенно если бы вы были так добры и прислали бы ко мне еще и мастера.

— Какого мастера?..— удивился врач.— Когда и зачем?

— Обыкновенного столяра. И сегодня, непременно сегодня. Я бы попросил его об одном одолжении.

— Ничего не понимаю, Владимир Ильич. Объясните, пожалуйста, мне, бестолковому.

— Все проще простого, доктор. Завтра с утра придет стенографистка с расшифрованным текстом, вы слышали. Текст надо будет вычитывать. Тогда-то очень пригодится мне этакая полочка вроде пюпитра для нот. Положу на нее страничку, выправлю, и двинемся дальше. Я во всех деталях уже продумал конструкцию полочки.

— Но ведь я еще не знаю, разрешу ли вам завтра вообще работать,— запротестовал врач.— Это, повторяю, под большим, под очень большим вопросом, Владимир Ильич. Сегодня было сделано исключение.

Рука больного опять показалась над одеялом. Пальцы ее по-прежнему были плотно прижаты друг к другу.

— Мы же договорились, доктор. Пять минут в день — разве это много?

— Много, Владимир Ильич. Для вас пока много.

— А, вот видите: пока, то есть сегодня, много. Стало быть, завтра будет в самую пору. А послезавтра — тем более! Логично?

— Не вижу никакой логики во всем нашем разговоре, Владимир Ильич. Одни сплошные уступки с моей стороны, одни бесконечные компромиссы.— Врач безнадежно махнул рукой.

И снова, во второй раз уже в это утро, дрогнули бледные щеки больного.

— Значит, согласны? Зовете мастера? Сейчас же? Немедленно? Спасибо, доктор, огромное спасибо! Не случайно, как только вижу вас, у меня сразу подымается настроение, мне становится лучше, много лучше. Совсем хорошо!

— Вы это уже говорили мне, Владимир Ильич. Не надо так часто и так сильно меня расхваливать — я бог знает что о себе подумаю.

— Ну и думайте на здоровье, доктор. Думайте! Если я хвалю вас, значит, имею на то основания. Поверьте, я научился кое-что понимать в докторах. Особенно в последнее время...





В НОЧЬ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Двенадцать часов ночи.

Час.

Два.

Начало третьего...

Когда же вернется Владимир Ильич? Сысоева, домашняя работница семьи Ульяновых, никак

не в состоянии была привыкнуть к тому, что Ленин так мало спит, никогда не отдыхает нормально. Пробовала даже деликатно высказывать свое отношение к «полуношничеству». Владимир Ильич еще более деликатно выслушивал Александру Михайловну, соглашался с тем, что дальше так продолжаться ни в коем случае не может, обещал «всенепременно» исправиться, но все оставалось неизменным и, пожалуй, даже шло к худшему.

Вот и сегодня. Уже далеко за половину третьего перевалило. Чайник десять раз подогрет и столько же раз остыл. Александра Михайловна хорошо знала, в случае чего Владимир Ильич и вида не подаст, что чай недостаточно горяч, все равно похвалит ее за внимание, но и мысли не могла допустить, чтоб после такого изнурительного труда, поздней зимней ночью человек лег спать не подкрепившись. Снова и снова ставила на плиту крутобокую эмалированную посудину, нетерпеливо покачивавшуюся на чугунных колосничках, словно поторапливая безнадежно запаздывавшего хозяина.

Александра Михайловна поглядывала на старинные часы, маятник которых раскачивал на латунном диске тусклое отражение одинокой лампочки. Уж не случилось ли чего с Владимиром Ильичем?

Где-то совсем около трех Сысоева сквозь тревожную полудрему вздрогнула, рванулась к двери, за которой ей послышались знакомые шаги. Но что это? Послышались и... замерли. Не могла же она ошибиться? Не могла. Шаги Ильича с другими не спутаешь. Не забыл ли чего-нибудь на работе, не воротился ли обратно? Она приложила ухо к дверной щели и вдруг стала не-

вольной свидетельницей тихого, но отчетливо доносившегося до нее разговора двух людей.

Один спрашивал, другой отвечал:

— Вам, вероятно, очень холодно, товарищ?

— Терпеть еще можно, Владимир Ильич.

— Значит, я прав, холодно. Давайте так сделаем. Я сейчас отомкну дверь, мы вместе войдем ко мне, выпьем по стакану горячего чая и согреемся.

— Не могу, Владимир Ильич, не положено.

— Но вы же сами признались, что замерзли. В случае чего объясним, кому следует, что с моего разрешения. Нас поймут, никаких неприятностей не будет, уверяю вас.

— С поста сойти не имею права, Владимир Ильич.

— Это даже я, штатский человек, понимаю, но речь идет всего-навсего о каких-то минутах.

— И на секунду не могу отлучиться, Владимир Ильич. Служба.

— Может, все-таки сделаем маленькое исключение? Пусть, в крайнем случае, меня накажут. На гауптвахту ведь не пошлют?

— Вас не пошлют, Владимир Ильич. А я даже говорить с вами и то не должен...

После этих слов тихий разговор оборвался. Сысоева едва успела отпрянуть от двери, как в замочной скважине вкрадчиво шевельнулся ключ.

Через несколько мгновений Александра Михайловна помогала Ленину снять пальто. Он смущенно отстранял ее:

— Тысяча извинений за опоздание, милая Александра Михайловна. Тысяча! Сам не сплю и другим мешаю. А вы все хлопочете?

— Какие хлопоты, Владимир Ильич? Вот любимого вашего чайку вскипятила.

Владимир Ильич остановил уставший, но внимательный взгляд на чайнике.

— Сегодня от угощенья не откажусь.

— Сразу наливать?— спросила Сысоева.— Или...

— Сразу,— против обыкновения не дал он договорить ей.— Сразу и, если можно, два стакана, Александра Михайловна. И покрепче, пожалуйста!

Александра Михайловна не без удивления переспросила:

— Сразу два? Так ведь один остынет, пока будете пить.

Сысоева прекрасно знала, для кого предназначался второй стакан, но ей не хотелось показывать, что она слышала, о чем и с кем говорил в коридоре Ленин. А он повторял мягко, но решительно:

— Сразу два, милая Александра Михайловна, сразу два. Мне и часовому. Он замерз, а с поста отлучиться не может даже с моего разрешения. Ни на какие уговоры не поддается. Как вам это нравится?

— И не поддастся, Владимир Ильич. Я парня этого уже хорошо знаю.

— Знаете?— удивился Ленин.— А я, честно сказать, вижу его впервые.

— Он новенький, верно, но характер успел показать.

— Характер, говорите? Это становится интересным! Люблю людей с характером. И все-таки, невзирая ни на что, отнесите-ка ему стакан чая, очень прошу вас, Александра Михайловна. Или, если вам неудобно, я сам отнесу и поставлю возле него на тумбочку. Выбирайте, что вам больше подходит.

— Нет, отчего же, мне и удобно и совсем не трудно, Владимир Ильич.

— Ну и отлично, Александра Михайловна. Человеку холодно, и никто его стаканом чая, выпитым «не по уставу», надеюсь, не попрекнет.

Сысоева налила два стакана. Ленин, сощурившись, посмотрел на свет сперва один, потом другой и сказал:

— Вот этот ему, пожалуйста. Он, кажется, покрепче.

— Это только кажется, Владимир Ильич. Оба одинаково крепкие, по вашему вкусу. Совершенно одинаковые.

— Да, да, конечно, Александра Михайловна, совершенно одинаковые.

Ленин опять поглядел стаканы на свет и полушутя-полусерьезно заметил:

— Особенно вот этот. Его и несите, Александра Михайловна, пока не остыл.

Сысоева покорно и быстро направилась к часовому и так же быстро вернулась с нетронутым стаканом на подносе.

— Отказался?— воскликнул Ленин.

— Отказался, Владимир Ильич.

— Что хоть сказал при этом? Какие слова?

— А ничего не сказал, Владимир Ильич. Молча воротил меня обратно, вот и весь сказ.

Ленин задумался. Отхлебнув глоток-другой чая, спросил Сысоеву:

— А что скажете вы по этому поводу, уважаемая Александра Михайловна? Ваше мнение? Только честно.

Сысоева ответила почти без колебаний:

— По-моему, оба правы. Вы хорошо сделали, что предложили, Владимир Ильич. Он хорошо поступил, отказавшись. Действительно, ведь устав

караульной службы не позволяет. У меня отец был военным, я все это знаю. Но главное не в уставе, а в парне. Устав иной раз как угодно можно повернуть, это мне тоже известно.

Сысоева умолкла, хотела дождаться, когда Ленин допьет чай до конца, чтобы убрать посуду. Но он пить почему-то больше не стал. Долго сидел, погруженный в свои мысли, молча вращая ложечкой в стакане, наблюдая при этом за густой черной вьюгой чаинок.

После продолжительной паузы первой заговорила Сысоева:

— Могу я задать вам один вопрос, Владимир Ильич?

Черная вьюга чаинок чуть замедлила круговорот в стакане Ленина.

— Конечно, Александра Михайловна, конечно.— Он с любопытством поднял уставшие глаза на Сысоеву.

— Интересно, а что вы, Владимир Ильич, думаете об этом парне? Ведь о нем сейчас ваша мысль?

— Совершенно верно, Александра Михайловна! О нем. И вот к какому все больше прихожу выводу: именно с такими людьми можно, дорогая Александра Михайловна, строить новую жизнь. Именно с такими! И очень даже можно! Голод, холод, разруха, а они честно и до конца исполняют свой долг. А? Ну не прекрасно ли это?

Черная вьюга чаинок снова пришла в быстрое движенье в стакане Ленина.

— Разве я не прав?

— Как всегда, совершенно правы, Владимир Ильич,— сказала Сысоева.— Как всегда...

Они помолчали. Каждый думал о своем. У каждого были свои заботы и обязанности,

свои дела. Первым тишину нарушил Ленин:

— Пожалуйста, Александра Михайловна, помогите устроить мне встречу с этим парнем. Мне обязательно надо поговорить с ним, и чем скорее, тем лучше. Непременно! Может, и в самом деле выпьем с ним по стакану чая? Обязательно постараюсь выкроить для этого хоть немного времени.

Сысоева кивнула с тяжелым вздохом.

— Я понял вас, милая Александра Михайловна. Иду и попробую уснуть. Скоро уж вставать надо. Да? Это вы хотели сказать? Вот ведь какая пора пришла! Самого существенного не успеваем сделать. С самым нужным человеком поговорить некогда. Когда мы с ним теперь встретимся, откровенно сказать, не знаю. Он ведь наверняка сменится, пока я еще буду в горизонтальном положении. А потом моя «смена» наступит... Можно вас попросить, Александра Михайловна, чтоб кто-то проследил за часовым и сразу после того, как он закончит дежурство, пригласил его сюда, вот за этот стол, и напоил чаем? Кто это может сделать?

— Я, наверно, Владимир Ильич, кто же еще? Я все время на месте.

Ильич поблагодарил и пошел к себе. На пороге обернулся.

— Это ни в коем случае не отменяет нашей скорой встречи с ним, Александра Михайловна. Очень прошу вас устроить так, чтоб мы могли потолковать с ним по душам, и, если можно, еще на этой неделе. Хорошо?

— Эта неделя кончилась, Владимир Ильич. Сейчас, считайте, уже воскресенье.

— Вы опять совершенно правы, Александра Михайловна. Воскресенье, расписанное, кстати

сказать, до последней секунды. Ну тогда, может, в понедельник или во вторник? Запишите и передайте секретарю мою убедительную просьбу. Именно такие часовые позарез нужны теперь Советской власти. Позарез, милая Александра Михайловна!

— Конечно, Владимир Ильич, конечно, передам все в точности, не беспокойтесь.

Ленин ушел, аккуратно притворив за собою массивную белую дверь.

Сысоева принялась за свои дела, размышляя обо всем, что услышала, чему была свидетельницей.

В доме стало тихо — приближалось воскресное утро, которое вот-вот должно было решительно вступить в свои права. И очень скоро вступило — не прошло и получаса, как массивная белая дверь вновь бесшумно распахнулась. На пороге перед Сысоевой возник Ильич, так до сих пор и не «попробовавший уснуть». Посмотрев на Александру Михайловну, он сказал, чуть расслабив узел галстука на шее:

— Александра Михайловна, вы, может быть, будете удивлены, но я вернулся, чтоб уточнить одну важную мысль.

Сысоева вскинула на Владимира Ильича удивленные глаза. Он приблизился к ней и, чуть коснувшись укутанного шалью плеча, спросил:

— О часовых вы меня, надеюсь, не слишком буквально поняли? А? Я ведь не только их имел в виду, Александра Михайловна. Далеко не только их одних — вообще всех нас. Всех вместе и каждого в отдельности. Вам ясно, какие люди нужны сейчас революции — на всех постах, больших и малых?

— Думаю, поняла вас точно, Владимир Ильич.

Не первый день здесь работаю, многому научилась за это время.

— Это прекрасно, Александра Михайловна! Чем больше преданных делу людей, тем ближе и реальнее цель, стоящая перед нами. Вы согласны?

— Конечно, согласна, Владимир Ильич.

Сысоева помолчала, еще раз глянула на Ильича — теперь уже восхищенно. Но спросила все-таки с едва заметным осуждением:

— Из-за этого спать до сих пор не легли? Специально вернулись?..

— Из-за этого,— сознался Ильич.— Но дело, как вы сами понимаете, Александра Михайловна, чрезвычайно серьезное. Может быть, самое серьезное в данный момент.

— И с этим не спорю, Владимир Ильич.

— Что ж тогда смотрите на меня так строго? Что-нибудь все же не так сделал? Не то сказал?

— Все так и все то, Владимир Ильич. Но чтобы выполнить все, что вами задумано, вы должны здоровье свое поберечь. Хоть капельку...

Сысоева бросила сокрушенный взгляд на часы, маятник которых продолжал настойчиво, неумолимо отсекать последние минуты воскресной ночи.





ВАЖНАЯ БУМАГА

Когда Иван Лукич сказал соседу своему Тимофею, что собирается в Москву, тот удивился:

— Чего тебе не сидится на месте, Иван? То в деревню, то в Лодзь, то вон удумал куда! Ну, в деревне у тебя, знаю, сестра. Ну, в Лодзи,

допустим, дружки-приятели. А в стольном городе? Ни единой знакомой души!

— И в стольном есть один не чужой человек. Только ты, Тимоха, не смейся и никому ни слова об этом, слышь? К Ульянову-Ленину вот так нужно попасть!

Тимофей удивился еще больше:

— К кому, к кому?

— Не смикитил еще? К самому главному. К Владимиру Ильичу.

Тимофей ухмыльнулся, покрутил головой. Отговаривать, однако, не стал. Известно давно — что в голову Лукичу взбредет, так тому и бывать. Тем более знал — с Ульяновым судьба свела Ивана смолоду, когда начал ходить по кружкам да по митингам, пристрастился запретные книжки почитывать. За это был схвачен жандармами и получил как «политический» свой первый срок — семь месяцев. Бесконечно долгими показались ему тогда эти месяцы. Каждый день считал, со счету сбился. Потом сразу же, без передышки, упекли на второй срок. По той же самой статье — по «политике». Целый год хлебал холодную баланду в Петропавловке. Оттуда перевели Ивана в Москву, еще в одну тюрьму. «Башней» называлась.

Тимофей вспомнил сегодня все это, вспомнил и мысль, которую Ульянов якобы высказал при одной из встреч с Лукичом: «Вот они нас по тюрьмам рассаживают, из одного каземата швыряют в другой. Простой вещи не поймут: мы тут еще теснее сплачиваемся для совместной борьбы».

Из рассказов соседа знал Тимофей, и о том, что дороги Ильича и Ивана пересекались не

раз и не два. Когда Проминского вместе со всей семьей сослали в далекую Шушу, там опять встретился с Ильичем, бывал у него, тоже ссыльного, дома. О многом переговорили тогда зимними вечерами под завывание лютой сибирской вьюги. О жизни, о революции, которая вот-вот грянет над Россией. Снова и снова повторял Ильич слова о том, что люди, которых царь ссылает, гонит на каторгу, в кандалы заковывает, становятся еще крепче, закаленнее, еще лучше начинают понимать и ценить друг друга.

Обо всем этом вспомнил сегодня Тимофей, но ехать Лукичу в Москву все-таки не посоветовал:

— Холод, Иван, голод, разруха. Доедешь ли? Да и Ульянов твой Ленин вон куда вымахал! А ты как был смазчиком вагонов, так и остался. Верно говорю?

— Верно,— соглашался Иван.— Однако поеду, проведаю. Только свижусь, и вся недолга́. А что? Бесплатный билет полагается, расходов особых не будет. На харчи только. Так я мигом — туда и обратно.

Через день-другой Иван Лукич перекинул через плечо тощий мешочек, а Тимофей долго из своего окошка смотрел вслед человеку, шагавшему в сторону станции, и дивился тому, до чего наивные люди на свете. «На что ты нужен сейчас Ленину, старик? Самое время ему заниматься бывшими знакомыми по тюрьмам да ссылкам. Самое времечко!»

Неделю спустя они опять сидели рядом. Два друга-приятеля. У одного настроение было явно возбужденное, приподнятое. Другой смотрел на приехавшего с любопытством — не терпелось

узнать, как все сложилось у человека, не послушавшего доброго совета.

— Ну, что там Белокаменная? Какие новости? Как доехал? Выкладывай.

— На месте Москва. А доехал, честно скажу, с трудом — повсюду останавливают, документы требуют. На вокзале еле-еле отбился от всяких проверяльщиков. Ну, а уж когда до Ленина пробираться начал, и вовсе устал объяснять, кто такой и откуда, как и по каким неотложным делам прибыл к Владимиру Ильичу. Так или иначе, своего, конечно, добился. Был принят супругой Ильича Надеждой Константиновной. Хозяина дома не было в тот день с самого раннего утра до самого позднего вечера.

Тимофей понимающе кивнул.

— Об чем я и говорил! Сидел бы на печке, грел бы свои старые кости. И самому лучше, и людям спокойней...

— Погоди, не спеши,— перебил соседа Иван.— Во-первых, с супругой я тоже знаком хорошо. Нам было о чем поговорить и что вспомнить. Часа два меня, застывшего с дороги, чаем отпаивала, обо всем расспрашивала, сокрушалась, что вряд ли удастся встретиться сегодня с Ильичем. Поинтересовалась, не нужна ли мне какая помощь от них. Я сказал: благодарствую, не нуждаюсь ни в чем...

— В это самое время тебе бы подняться, поблагодарить и уйти,— сказал Тимофей приятелю.

— Я так и сделал, точно так,— успокоил Тимофея Иван.— Поблагодарил, стал прощаться, извинился, что отнял столько времени, просил передать Владимиру Ильичу привет, пожелал им обоим доброго здоровья и велел ей беречь

мужа, не разрешать так много работать. Это, говорю, наш общий вам рабочий наказ, Надежда Константиновна: беречь, беречь и беречь! И что же ты думаешь? При этих самых словах распахивается дверь — на пороге, он, Владимир Ильич... В пальто, с черной шапкой, зажатой в руке. Как глянул на меня, так и кинулся навстречь. «Здравствуйте,— говорит,— милейший Иван Лукич! Здравствуйте, здравствуйте! Представить себе не можете, как рад вам!»

Тимофей все с большим удивлением глядел на Ивана, а тот продолжал свой рассказ:

— Не раздеваясь, присел Ленин к столу, сказал, что вернулся неожиданно рано и, к сожалению, ненадолго, через час с небольшим у него неотложное дело, но этот час они проведут вместе, поговорят обо всем, обсудят все, что накопилось за годы разлуки. «Сколько мы с вами не виделись, Иван Лукич? Вечность, целую вечность! Итак, вы гость, вам первое слово!»

Ленин заставил Ивана Лукича поведать обо всем, что пережито, передумано, обо всех бедах и радостях. Про семью расспросил — про каждого человека. И очень радовался, когда узнавал, что этот жив, а тот не только жив, но и здоров, работает, полон сил и энергии:

«Вот это, батенька, нам сейчас вот как важно! Вот как! Такая работа предстоит! Такая гигантская работища, что болеть нам, старой гвардии, не годится, ни в коем случае не годится, милейший Иван Лукич! Сами-то вы как?»

Этот последний вопрос Ивану Ленин задал в течение беседы будто бы несколько раз. Человек, дескать, вы уже не молодой, такой путь прошли, такое на плечах своих вынесли, а долж-

ность у вас не из легких. Под силу ли вам? Не подыскать ли чего полегче? Я, говорит, если надо, напишу куда и кому угодно.

Один рассказывал, другой время от времени чуть посмеивался в сизые усы. Иван Лукич в какое-то мгновение это ясно заметил, хотя сосед ухмылку свою тщательно скрывал. Только в самом конце полушутя-полусерьезно спросил:

— Ну и что же? Чем дело-то кончилось?

— А тем и кончилось, что душу свою отвел — Ленина повидал, хотя и трудно было добираться. Обратный путь легче был. Намного легче!

— Что ж, он тебе автомобиль свой дал? Или как? — уже с откровенной усмешкой спросил сосед.

Иван Лукич неуместной шутки этой решил не заметить:

— Ты знаешь, Тимоха, дал. Дал! До самого вокзала довез, велел еще приезжать, когда посвободней будет. И телеграмму в Иннокентьевское депо обещал отстучать. Так, мол, и так, прошу перевести человека на Алтайскую дорогу — там и продукты, дескать, дешевле, и работу свободней подобрать другую. Вот так, сосед! Понял?

Тут Иван Лукич смерил Тимофея торжествующим взглядом, чтоб у него не осталось никаких сомнений в том, что именно так все и было в Москве. А потом еще достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, бережно расстелил его на столе, аккуратно разгладил ладонью:

— Читай.

Тимофей склонился над сверкавшим белизною листом. Глаза его сразу остановились

на словах, напечатанных не крупно, но четко типографскими буквами в левом верхнем углу: «Российская Федеративная Советская Республика. Председатель Совета Народных Комиссаров».

— Так. Теперь тут читай, ниже. Его рука, сосед! — Пропитанный насквозь мазутом, битый железом и временем палец Ивана указал на строки, которые прочесть сразу оказалось затруднительным делом: написано было действительно от руки, к тому же бегло, размашисто. Тимофей напряг зрение, расшифровывая плохо поддающиеся ему строки.

— Так и быть, подсоблю, дай-ка,— сказал Иван, который за длинную дорогу текст ленинской записки не только разобрал — наизусть выучил.— Слушай и на ус мотай: «Предъявитель сего Иван Лукич Проминский мой старый товарищ по тюрьме и ссылке». Понял? Слушай дальше: «Прошу все железнодорожные и другие организации оказывать ему, — это мне, стало быть, — всяческое содействие и необходимую поддержку»...

Тимофей все еще с недоверием глядел на лежавшую перед ним записку. Неразборчивые слова ее становились постепенно все понятнее, все яснее. Подпись он разобрал уже сам, без помощи Ивана. Прочитал ее вслух:

— «Ульянов-Ленин. Предсовнаркома»...

— Правильно, сосед. Предсовнаркома! — подхватил Иван.— Грамотный ты, погляжу, человек, культурный, не зря целых три класса церковноприходской окончил. Так вот с этой бумагой ехал я обратно — кум королю! Представляешь? Важная бумага!

Тимофей задумался. Еще раз склонился

над сверкавшим ослепительной белизною листом. Удивила Тимофея еще одна вещь — как могло получиться, что удостоверение, которое Иван предъявлял в дороге небось десятки раз, осталось таким чистым, не захватанным руками бесконечных проверяльщиков? Спросил об этом Ивана.

Тот удивился еще больше, чем Тимофей:

— Что ты! Кому предъявлял? Ни разу не показал никому за весь путь. Ни единому человеку, ни-ни! Разве можно? Говорю ж тебе — важная бумага! Хранить буду до края дней.





РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Когда Ленину доложили, что к нему хочет попасть одна заморская художница, он тяжело вздохнул, с укором посмотрел на секретаря.

— И что же?. Вы обещали устроить эту встречу?

— Владимир Ильич, я не могу ни обещать,

ни отказать, но художница, ходят слухи, хорошая...

— Значит, я прав — обещали?

— Владимир Ильич, она говорит, во что бы то ни стало должна сделать ваш скульптурный портрет.

По лицу Ленина пробежала тень плохо скрываемой досады. Он даже немного повысил голос, что случалось с ним очень редко:

— Вы же знаете, какое это для меня испытание! Только-только от одного служителя муз избавились — другой на пороге. Я поклялся себе никогда больше не позировать художникам. Все мое существо сопротивляется этому. Это пытка для меня, самая настоящая пытка! А помните, сколько глины он сюда натащил? И все время отрывал от работы.

— Владимир Ильич, эту даму мы предупредили строго-настрого сидеть тихо, вопросов не задавать, не заставлять вас «позировать». И чтобы никакой глины.

Еще один глубокий вздох вырвался из груди Ильича.

— Я поставлен в нелепое положение. В нелепейшее. Убедительно прошу: оградите меня в дальнейшем от подобного рода посетителей. Ог-ра-ди-те!

Это «в дальнейшем» означало, что Владимир Ильич, так и быть, сделает на сей раз исключение, но последнее. Самое последнее.

Постояв с минуту молча у окна, он обернулся к секретарю, спросил примирительным тоном:

— И когда же явится ваша художница?

— Завтра с самого утра она хочет ждать вас в приемной, и как только вы позволите...

— А вы спросили госпожу, знает ли она, когда у нас с вами начинается утро?

— Мы обо всем поставили ее в известность, Владимир Ильич.

Ранним утром следующего дня, направляясь в свой кабинет, Ленин сразу заметил в углу приемной необычного вида посетительницу. Она настороженно сидела в окружении бесчисленных ящиков и ведерок.

«Точь-в-точь как тот»,— подумал Ленин, но, чтобы не быть невежливым, сам подошел к даме, слегка поклонился, спросил, знает ли она о его условиях.

— О да, господин Ленин, о да! Мне все объяснили: работать тихо, не задавать вопросов, не просить вас позировать...

— И по возможности уложиться в один день, мадам, вы уж извините.

— И эту просьбу буду стараться как-нибудь выполнить, господин Ленин, и эту...

— Тогда прошу вас,— Владимир Ильич пропустил художницу вперед. Следом за ними в кабинет прошли двое красноармейцев — они перенесли сюда ящики и ведерки художницы, аккуратно опустили их на пол, на заблаговременно постеленные газеты.

Владимир Ильич сел за стол, художница разместилась поодаль, на таком расстоянии, чтобы не мешать хозяину и в то же время достаточно хорошо его видеть.

Ленин принялся за свою работу, художница — за свою.

Только шелест перелистываемых Лениным книг да бульканье воды в ведерках художницы нарушали тишину кабинета.

Через каждые несколько минут входил секретарь с кипами бумаг, молча раскладывал их в каком-то одном ему ведомом порядке на столе перед хозяином кабинета. Вооружившись ножницами, Ленин сам вскрывал плотные конверты с сургучными печатями, быстро пробегал глазами содержавшиеся в них послания, вполголоса отдавал распоряжения, которые секретарь записывал в блокнот и удалялся.

Время от времени Ленин просил соединить его по телефону с тем или иным человеком. С каждым говорил коротко, четко, делая какие-то пометки в своей записной книжке.

Над головой Ленина висели часы, на которые все чаще поглядывала художница. Неумолимо выстригали они своими стрелками из отпущенного ей дня минуту за минутой, час за часом.

Неожиданно дверь распахнулась, и вошел человек, лицо которого показалось ей почему-то очень знакомым. Острая белая бородка клинышком, добрые внимательные глаза за стеклами очков в металлической тонкой оправе. Ленин сразу же встал и шагнул ему навстречу. Затем они отошли в дальний угол кабинета, начали тихо, но возбужденно разговаривать. Из всего, что говорил Ленин, до слуха художницы отчетливо доносились только два слова — Михаил Иванович. Да она, разумеется, и не прислушивалась — покорно сидела на своем месте, ждала, когда наступит удобная минута, чтобы снова приняться за свое дело. Честно сказать, она была даже рада этой маленькой передышке — работа ее началась на рассвете, а сейчас за окнами уже блуждали первые сумерки.

Но вот человек с бородкой стал прощаться.

Она опять обратила внимание на то, как почтителен был с ним хозяин. Долго тряс протянутую ему руку, спросил, не хочет ли выпить чаю. Тот отказался, сославшись на неотложное дело. Ленин проводил его до двери, потом обратился к художнице:

— Но вы-то, надеюсь, не откажетесь от стакана чая, мадам?

Художница почему-то смутилась, Ленин попросил секретаря:

— Будьте так добры — два стакана чая нам.

В кабинете было явно не жарко, хозяин поеживался. Художница поймала себя на мысли, что она не только замерзла, но и смертельно устала, устал, наверно, и этот человек, не сделавший в своей работе за весь день и самого краткого перерыва.

Внесли на подносе два стакана чая. Дымящегося, крепкого, судя по всему, как раз такого, какой нравился хозяину.

— Даже с сахаром! — воскликнул он, увидев на самом донышке каждого из стаканов колеблющиеся, быстро оседающие крохотные белые пирамидки. — Спасибо огромное! Угощайтесь, мадам.

Сделав первый глоток, художница поняла, что сахар был, пожалуй, больше символом, чем реальностью. Сколько ни мешала она ложечкой в стакане — чай слаще не становился.

Перехватив взгляд иностранки, Ленин сказал:

— Приезжайте к нам лет через десять, мадам. Вы пережили только одну войну. А на нашу долю выпало целых три. Одна за другой — империалистическая, гражданская и еще надо было всем встать на защиту своей республики. Так что не обессудьте.

После чая художница проработала еще около двух часов. Потом силы окончательно покинули ее — еще никогда в жизни не трудилась она так долго.

— Не ругайте меня, господин Ленин, но я не уложилась в отведенный срок. Буквально одного часа не хватило. Будьте великодушны, разрешите закончить завтра?

— Но это честно? Действительно один час, мадам?

— Один-единственный. А сегодня и вы устали, и я ног под собой не чувствую. Будем считать наш общий рабочий день на этом законченным?

Ленин в ответ слегка улыбнулся.

Художница решила, что завтра она непременно должна будет схватить эту улыбку — едва заметную, начинавшуюся где-то в уголках глаз, вернее в самих глазах. Поймать ее, однако, не так-то легко — всего два раза за весь день осветила она это умное, задумчивое лицо, изборожденное глубокими морщинами усталости. Первый раз Ленин улыбнулся во время разговора с тем посетителем, неким Михаилом Ивановичм. Второй — сейчас, когда она сказала об их закончившемся рабочем дне и о том, что оба они имеют теперь право на полный отдых.

«Во что бы то ни стало надо будет понять природу этой редкой, но такой доброй улыбки. В России много загадок, очень много. Загадки просто на каждом шагу. Разгадаю постепенно все, разгадаю и эту!» — думала иностранка, выходя из ленинского кабинета в приемную.

Открывшаяся здесь картина заставила ее вздрогнуть и на мгновенье застыть на месте.

В довольно большом помещении, которого утром, волнуясь, она не сумела как следует разглядеть, было полно людей. Они сидели на стульях, расставленных вдоль стен,— кто в одежде рабочего, кто в крестьянских лаптях, кто в солдатской шинели...

Провожая художницу, секретарь на ходу обратился к собравшимся:

— Все идет по программе, товарищи, строго по программе. Прием начнется точно в назначенное время. Вот гражданочку провожу, соединю товарища Ленина с директорами двух заводов, и сразу же начнем. Примем всех до единого. Ваша очередь первая, товарищ Серегин,— сказал он, поравнявшись с сидевшим у самого выхода пожилым человеком в островерхом шлеме с красной звездой.— А потом вы, вы и вы... По списку.





«НЕИСПРАВИМЫЙ»

Январь 1921 года. Только что закончился VIII съезд Советов, с трибуны которого были сказаны Лениным знаменитые, облетевшие потом весь мир слова: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Надо было срочно разъяснять решения съезда, звать массы на их выполнение. Впереди — огромная работа. С чего и как лучше начать? Как форсировать дело?

Так думал Ленин вечерним зимним часом на пути из Москвы в Горки. Так думал и так решил...

Посидев немного дома с полузакрытыми глазами в кресле-качалке, он окликнул проходившую мимо Надежду Константиновну.

— Наденька, помнишь того крестьянина в рыжем тулупчике? Высокий такой, все приглашал нас к себе в гости.

Надежда Константиновна, держа в руках только что вскипевший чайник, вспоминая, остановилась.

— К нам столько ходит людей, Володя. И каждый непременно зовет к себе...

— Но этого забыть нельзя, Наденька,— борода дремучая, глаза огромные, светлые, а изба у него, мол, небогатая, но просторная — на всю многодетную семью сам рубил, так что места всем хватит.

— Да, да, начинаю припоминать, кажется. Это на прошлой неделе было, в последний раз?

— В последний раз это было полчаса назад, Наденька. Остановили нас в темноте какие-то люди, извинились. Один из них, самый высокий, сказал: это я, Шульгин, Владимир Ильич, не забыли такого? А вот и дом мой. Нескладен, зато просторен — народишку много поместится. Хорошо бы, говорит, не откладывать больше, Владимир Ильич.

— И что ты ему ответил?— не без укоризны спросила Надежда Константиновна, которая,

конечно, уже обо всем догадалась.— Ты же совсем не отдыхаешь, Володя.

Ленин помолчал, обнял жену за укутанные вязаным платком плечи, потом тихо, но твердо сказал:

— Собирайся. Я обещал, что приедем вдвоем. Прямо сейчас. Чаем нас угостят. Из самовара!

Скоро сани с морозным скрипом остановились возле избы крестьянина Шульгина. Гостей встретили у крыльца, провели в дом. Там было уже полно народу. Многие сидели на скамьях, табуретах и стульях, принесенных, очевидно, из соседних домов, и даже на подоконниках, по для Владимира Ильича и Надежды Константиновны было запасено два места у стола, посреди которого действительно клокотал начищенный до блеска медный самовар.

Свет в избе был хоть и тусклый, керосиновый, но разглядеть можно было все — и уставшие лица собравшихся, и возбужденные их глаза. Не ускользнуло от внимания Ильича и то, что стол по торжественному случаю был накрыт белой накрахмаленной скатертью, вышитой любимой Лениным старинной русской вышивкой «крестиком».

Надежда Константиновна это тоже, конечно, заметила и легонько дотронулась до локтя мужа. Смотри, дескать, нас тут и впрямь ждали, да еще как! Ильич, ответив ей едва заметным кивком, стал почтительно за руку здороваться со всеми собравшимися, извиняясь за то, что заставил себя ждать.

— Что вы, Владимир Ильич!— отвечал ему каждый.— Мы сами только-только с работы. Даже домой не успели зайти.

Это и так было видно — на одежде иных

еще поблескивали граненые звездочки не успевшего растаять снега.

Ленин обошел всех, сел на отведенное ему место, спросил Шульгина:

— Какой главный вопрос у нас сегодня на повестке дня?

— У вас собраний-заседаний всяких хватает, Владимир Ильич,— ответил хозяин.— Хотелось с вами просто по душам поговорить. А души у нас деревенские, стало быть, интересуемся знать, какой деревня при Советах будет — и не через тыщу лет, а вскорости, годков этак через десяток, что ли. Еще лучше — через пяток...

— Теперь все понятно.— Ленин удовлетворенно кивнул головой и стал рассказывать о только что закончившемся VIII съезде Советов, о том, какие перспективы ждут страну, какие трудности предстоит одолеть — и крестьянам, и рабочим.

Говорил Ленин прямо, честно, без утаек и умолчаний, и каждый невольно становился участником этого разговора. Кто вопрос задаст, кто реплику бросит, кто такого перцу подсыплет, что только держись. Реакция Ильича при всех поворотах беседы была спокойной, доверительной. Люди не могли не оценить этого, каждый, как мог, старался подчеркнуть, что задачу свою мужики понимают и выполнять, что положено, будут «всем миром».

Беседа затянулась допоздна. Могла бы длиться еще и еще, уходить никто не хотел, но надо ж было такому случиться, что как раз в тот момент, когда Ленин сказал о том, как дружно поддержал съезд идею электрификации всей России, подвешенная под потолком

лампа начала сильно чадить, в воздухе остро запахло фитильным перегаром, свет стал меркнуть, и через минуту-другую все погрузилось в полную темноту...

Изба загудела, хозяин смутился, зачем-то достал кресало и принялся остервенело сечь им по кремню. Ленин опять нашел самые нужные слова:

— Вот еще один довод в пользу решений съезда! А сейчас давайте пока закончим.

Прощаясь, Ильич пообещал, что первая лампочка зажжется в Горках в ближайшие месяцы. Он сделает для этого все возможное.

По дороге домой Ленин молчал, погруженный в свои думы.

Спать в эту ночь лег поздно, намного позже обычного. Долго-долго сквозь сон слышала Надежда Константиновна его мягкие, осторожные шаги. Утром она застала мужа за письменным столом. Подошла со спины, опустила руки ему на плечи. Первое, что бросилось ей в глаза в ту минуту, были лежавшие на столе листы бумаги, густо исчерченные замысловатыми знаками.

— Что это, Володя? Чем ты занят?..

Ильич положил свои руки на руки Надежды Константиновны.

— Плохой из меня чертежник, да?— не без огорчения спросил он.— После вчерашнего разговора пробовал вот изобразить схему электрификации в самих Горках и во всех селениях вокруг.

— А это что за странная линия?

— Это берег Пахры.

— А эти палочки? Их тут миллион!..

— Ты, может быть, будешь смеяться, На-

денька, но это... столбы. Самые настоящие столбы. Я должен был подсчитать, сколько их потребуется, и, представь себе, подсчитал. Примерно, конечно, но прикинул. Их нам нужно будет около...

Надежда Константиновна несердито, но довольно решительно перебила его:

— Володя, меня сейчас интересует не количество столбов, хотя я понимаю, это очень серьезно и важно, но мне не менее, а, может быть, еще более важно знать, во сколько ты лег вчера? Врач тебе что сказал? Ты вынуждаешь меня жаловаться.

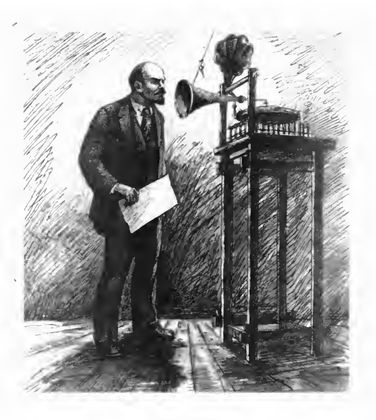
Ленин не знал, что ответить. Он начал аккуратно собирать в папку бумаги с чертежами.

А Надежда Константиновна, стоя подле него, продолжала сокрушенно повторять:

— Уверяю тебя, буду жаловаться... Ты же неисправимый, совершенно неисправимый человек!..

Как бы там ни было, а первые «лампочки Ильича» вспыхнули в Горках, на берегу Пахры, в июле того же, 1921 года. Это теперь всем известно. Во всех концах света.





ПЛАСТИНКА

Когда-то существовало в Москве такое учреждение — Центропечать. Помещалось оно на Тверской улице, в доме под номером 38. Теперь и улица та называется по-иному, и в доме номер 38 другие прописаны учреждения. И все же запомним именно этот адрес: Тверская, 38.

Здесь в 1919—1921 годах записывали на граммофонные пластинки голос Ленина.

Самые первые записи осуществлялись в Кремле в специально каждый раз подготавливаемом помещении, но это было сопряжено с большими трудностями по перевозке аппаратуры, были и другие сложности, и в конце концов пришлось перебазироваться в Центропечать. Правда, при этом возникали дополнительные хлопоты для Ленина, и работники Центропечати не сразу решились обратиться к нему с просьбой о перемене места записи. Не хотели лишний раз отрывать и беспокоить. Узнав об этом, Владимир Ильич сказал:

— Для полезного дела время всегда выкроим. Еще немного позже будем ложиться, еще немного раньше вставать — вот и решена проблема! Не правда ли, как просто?

Так или иначе, удалось записать пятнадцать речей Ленина: «Обращение к Красной Армии», «Что такое Советская власть», «О III Комунистическом Интернационале», «О крестьянах-середняках», «О продналоге»...

Слух о том, что появились пластинки с голосом Ильича, стал быстро распространяться. В Центропечать потянулись люди с заводов, из деревень, из красноармейских частей. Приходили на Тверскую, 38, и просили, чтоб им сейчас же, немедленно завели граммофон. Прослушав хотя бы одну из речей Ленина, заявляли:

— Это как раз то, что нужно! Этому поверит любой.

Спрос на пластинки возрастал с каждым днем, их не успевали изготовлять в нужном количестве. Единственная в России Апрелевская фабрика под Москвой не справлялась, пришлось срочно создавать вторую.

Ленину, конечно, было известно обо всем этом, он старался оказать помощь товарищам из Центропечати — учитывал, в каких сложных условиях приходилось им работать.

Регламент записей был жесткий — каждая речь Владимира Ильича должна была непременно уложиться ровно в три минуты. Первое время никак не получалось — то «перелет», то «недолет»... Люди, возившиеся со сложными аппаратами, волновались, нервничали. Ленин, как мог, успокаивал их:

— Это я виноват. Не могу сразу приноровиться. К очередной записи подготовлюсь более тщательно.

И в следующий раз являлся с выверенным во времени текстом.

— Видите, стараюсь! Мне хочется, чтоб наша пропаганда всегда была на высоте. Рабочие, крестьяне и красноармейцы, которые штурмуют Центропечать, ведь не какого-то отдельного человека слышать хотят — им хочется, чтоб к ним обращалась партия, чтоб власть наша Советская с ними разговаривала, правильно?

— Правильно, Владимир Ильич. Но им нужно о планах и мыслях партии и народной власти услышать именно от вас. Так все ходоки в один голос заявляют.

— Вы это серьезно? Так и заявляют?— Ленин прищурил глаза.

— Именно так, Владимир Ильич. У кого угодно спросите.

— Тогда тем более надо стараться!

Готовую запись Ленин в большинстве случаев прослушивал сам. Иногда спрашивал, похож ли его голос, и недоверчиво пожимал плечами, когда ему говорили, что похож очень, что

прекрасно воспроизведены все его оттенки и интонации. Особенно в этом отношении удалась пластинка с речью «О крестьянах-середняках».

Но однажды произошла досадная осечка. Произнося перед записывающим аппаратом речь, Владимир Ильич раза два оговорился. Заметили это, когда изготовили первые экземпляры пластинки. Необходимо было сделать новую запись, но стеснялись попросить Ленина заново читать уже читанный им текст. Придумали целую легенду — техника, мол, часто подводит, иглы тупятся и т. д. Все это было очень похоже на правду, но правдой не было. Владимир Ильич сразу почувствовал фальшь и попросил завести забракованную пластинку. Слушал ее внимательно, а после окончания лукаво поглядел на собравшихся в студии.

— Техника, говорите, подводит? Иглы тупятся? Намек ясен! Все понял, приношу свои извинения, будем переписывать.

Через несколько дней была сделана новая запись, но в этот раз Ленин не уехал, пока не убедился, что теперь никаких «опечаток» нет.

Забракованную пластинку работники отдела упрятали подальше, на самый верхний стеллаж, чтоб не напоминала Ильичу о его оговорках. А он, приезжая на следующую запись, непременно находил ее, просил «прокрутить» с начала до конца и смеялся в тех местах, где два-три слова его «не послушались». Как-то завел даже такой разговор:

— Очень прошу вас, товарищи, подарите, пожалуйста, мне эту пластинку в личную коллекцию. Сделайте такое одолжение. Можно?

Находившиеся в студии работники сначала подумали, что Ленин шутит, и не знали, как на шутку отреагировать.

Но Владимир Ильич говорил, оказывается, без всякой иронии, совершенно серьезно:

— Обзаведусь когда-нибудь граммофоном, буду иной раз заводить и слушать. Со всеми замеченными «опечатками». Полезное дело — учиться на ошибках. Полезнейшее! Согласны?

Кто-то ответил:

— Тут спору нет, Владимир Ильич...

— Вот и товарищ такого же мнения. Превосходно! Раз уж мы условились с вами, что с помощью пластинок партия говорит с народом, то пусть говорит на чистом, предельно внятномя языке.

Пришлось работникам Центропечати выполнить необычную просьбу Ленина. Не известно вот только, довелось ли когда-нибудь Ильичу прослушать ту пластинку еще хоть раз. Говорят, граммофоном он так и не «обзавелся».

Не знаю даже, сохранилась ли вообще та пластинка. Скорей всего, нет. Но, услышав однажды эту историю, я уже не могу забыть о ней.

Так и крутится в моем воображении черный диск, так и вертится. Бежит, слегка дребезжа и подпрыгивая, по его бороздкам игла, которая с течением годов не тупится, нет, не тупится. Становится еще острее ее серебристое перышко — отчетливо, чисто, четко выводит живое ленинское слово.

О Коммунистическом Интернационале.

О Красной Армии.

О Советской власти...





СЕМЕРО В ОДНОЙ МАШИНЕ

Не было, пожалуй, ни одного завода, ни одной воинской части, ни одного учреждения, откуда не звонили бы к Ленину с просьбой приехать, ответить на вопросы, поговорить о новой жизни. И чем чаще ездил Владимир Ильич, чем чаще выступал, тем все больше и больше стано-

вилось желающих встретиться с ним. Да Ленин и сам охотно шел на эти встречи — связь была налажена плохо, радио почти отсутствовало, а надо было миллионы людей держать в курсе событий, советоваться с ними, наиболее точно и своевременно, «из первоисточника» информировать массы о решениях партии, обо всем самом важном в ее тактике и стратегии.

Представители иных организаций даже дежурили в приемной Ильича, чтобы, улучив удобный момент, увезти его с собой, хоть на самый короткий срок.

Количество таких «дежурных» особенно возрастало в моменты, когда вставали на повестку дня коренные вопросы жизни народа и государства. Так было, например, сразу после X съезда партии, на котором было принято решение о новой экономической политике. Уже в кулуарах съезда ждали Ильича посланцы трудовых коллективов Москвы, Подмосковья и даже совсем отдаленных мест.

Спускаясь по лестнице из зала заседаний, Ленин оказался в тесном кольце ожидавших его людей. Со всех сторон до него доносилось:

— Владимир Ильич, вы нам обещали.

— Мы за вами, Владимир Ильич.

— Товарищ Ленин, все работники нашего наркомата уже собрались. Тут всего двадцать минут езды.

Ленин внимательно вгляделся в лицо представителя наркомата, не без удивления переспросил:

— Как? Уже собрались?..

— Собраны, Владимир Ильич. Мы звонили вашему секретарю неделю назад. Хоть на полчаса...

Ленин вынул из жилетного кармана часы, сокрушенно покачал головой. Видно было, что он куда-то опаздывает. Наркоматовец, однако, не отступал, шел за Лениным по пятам. Чуть отставая от них, спускались по лестнице и те, кому Ленин не мог дать пока никакого ответа.

Возле самого выхода из подъезда Ленина ждала его машина. Рядом, прижавшись почти вплотную к ней, стояла другая, незнакомая. Это и был автомобиль того наркомата, где все «уже собрались».

— Отступать мне, значит, некуда?— опять покачал головой Ленин.— Ну что ж, пусть будет по-вашему, но только на полчаса, учтите.

Извинившись перед остальными, Ленин шагнул было к своей машине, но вдруг резко обернулся к работнику наркомата.

— Послушайте, товарищ, зачем же нам вдвоем с вами раскатывать на двух лимузинах? Нелогично. Может быть, я сяду с вами? И горючее сэкономим, и товарища Гиля отпустим пообедать и отдохнуть. Не цугом же нам ехать?

— Ну конечно, Владимир Ильич, конечно! Мы так и имели в виду.

— Только у меня к вам будет огромная просьба,— сказал Ленин.— Позволите?

— Разумеется, Владимир Ильич, любая ваша просьба...

— Ну так уж и любая!— прервал Ленин.— Не будем в данном случае мыслить такими категориями. Просьба самая элементарная: довезите меня потом на своей машине еще в одно место. Ладно? Опять же, ради экономии бензина и времени.

— Безусловно, Владимир Ильич, безусловно. Куда вам будет угодно.

— Вот это интеллигентно. Заранее благодарен. Послушайте, дорогой товарищ, а не убить ли нам с вами сразу двух зайцев, раз ваш наркомат такой добрый и сознательный?

Собеседник вопросительно поглядел на Ленина, силясь понять, о чем идет речь. Вид у него был озадаченный, мысль Владимира Ильича нуждалась в пояснении.

Ленин пересчитал глазами стоявших возле него людей и спросил:

— Семеро пассажиров в вашей машине поместятся?

— Не знаю, сейчас выясним у водителя...

— Не выясняйте, я знаю: с перегрузкой, конечно, но семь человек могут войти. Попросите, пожалуйста, шофера от моего имени, пусть разместит нас с вами и вот этих товарищей, к которым я не смогу сегодня поехать. Они послушают мое выступление у вас, разъедутся по своим организациям и расскажут там все, что услышат сегодня о съезде. Логично? И еще как! — обрадовался Ильич неожиданно пришедшему решению.

Он слегка подтолкнул своего собеседника к водителю, а сам почти незаметным жестом пригласил пятерых огорчившихся было, а теперь сразу воспрянувших духом людей в машину.

Через минуту-другую донельзя перегруженный автомобиль с трудом тронулся с места и понемногу начал набирать скорость.

Сквозь рев надрывающегося мотора Ленин крикнул водителю:

— Если лопнут рессоры, всю вину беру на себя, не волнуйтесь!

На полуобернувшемся лице водителя блуждала смущенная улыбка. Ленин это хорошо видел. У него самого настроение было в тот миг отличным.



УПРЯМАЯ ЛАМПА

Часто за полночь мерцал огонек в окне большого, давно уснувшено дома. На фоне мглистой Москвы расплывался он в блеклое, едва различимое пятнышко.

Никто из поздних прохожих и не догадывался,

что это свет лампы, зажженной над рабочим столом.

Никто не знал, что это Ленин не спит — сидит с карандашом и книжкой в руках. Прочитает страницу, запишет что-то и дальше: пододвинет лампу поближе — и снова за чтение.

А лампа та еле-еле светится — Ленин сам распорядился ввернуть именно такую.

— И ни одной свечой больше!

Родные и близкие пытались протестовать, уговаривать:

— Нельзя, врачи не позволяют. Так ведь зрение можно испортить.

А он:

— Ничего! Я часок почитаю и лягу.

Вскоре огонек действительно исчезал.

Немногие знали, что это вовсе не сон, а рассвет пробирался в комнату Ленина.

— Ну вот и отлично. Теперь можно и погасить.— Ленин устало смотрел через окно на золотой купол, отразивший первую зыбкую блестку зари.

И снова шелест страниц тревожил настороженную тишину еще не иссякшей ночи.

Никто в точности не знал, когда засыпал Ленин, во сколько просыпался. Он сам себе установил шестнадцатичасовой рабочий день и сам же его то и дело нарушал.

— Вот еще полчасика — и все...

Однажды домашние, чтобы хоть как-то облегчить изнурительный труд Ильича, потихоньку от него заменили тусклую лампу на чуть более яркую. Ленин сразу заметил «подлог», очень рассердился, потребовал «восстановить порядок».

— Это мое рабочее место, и, кроме меня, никто не должен здесь распоряжаться. Никто!

Вся Россия сидит без света, а вы мне тут целую иллюминацию устроили. Зачем? На каком основании? Запомните — пятнадцать свечей, и ни одной свечой больше!

Надежда Константиновна попробовала робко возразить:

— Но как же быть с шестнадцатью часами? Тогда и тут надо условиться совершенно твердо — шестнадцать, и ни одним часом больше!

Сказала она это так мягко, что Владимир Ильич вдруг перестал сердиться.

— На такие условия почти согласен!..

— Что значит — почти? Мы все на этом просто настаиваем.

— Ну хорошо, хорошо, согласен без всяких оговорок. Только, чур, за временем следить буду сам.

За работой Ленин все чаще и чаще забывал взглянуть на часы. Но после этого случая почти каждый раз, перед тем как сесть за стол, тихонько, чтобы никто не заметил, приподнимал купол зеленого абажура: проверял, та ли лампочка ввинчена.

Разные люди глядели на ту лампу, на ее желтую, слабую, еле тлевшую нить. Разные при этом у людей были мысли, разные возникали чувства.

Один посмотрел-посмотрел и сказал:

— Россия во мгле...

Другие видели дальше и думали:

«Рассвет над Россией!..»





ЛЕГЕНДА

Мы приехали в Горки с первым утренним поездом и за день осмотрели там все: и дом, и парк, и окрестности. В доме проникли в самые заповедные уголки, осторожно поднялись по скрипучей, почти вертикальной лесенке с периль-

цами для обеих рук — Ленин подымался по ней, когда начал поправляться после тяжелой болезни. Тихо постояли в маленькой комнате с окном, настежь распахнутым прямо в кипень весенней листвы,— тут встретил он свой смертный час. В парке обошли все тропочки, по которым когда-то ходил Ленин. Увидали леса и поля, в строгом молчании раскинувшиеся вокруг.

Возвращались в Москву уже вечером, переполненные впечатлениями, приумолкшие от нахлынувших мыслей и чувств. Было такое ощущение, будто побывали мы не в музее, а в доме у живого Ильича.

Видно, никогда не может стать далекой историей все то, что связано с Лениным, с его памятью. Но ветер времени все-таки настойчиво шумит в ветвях могучих дубов старых Горок, и по местам тем давно уже кочуют предания и легенды. Одна удивительнее другой.

Необыкновенную историю рассказал нам в вагоне случайный попутчик, старый солдат, медали которого позвякивали в такт колесам бегущего поезда.

...Когда Ленин умер и настал срок проводить его последний раз в занесенную снегами Москву, комендант Горок сбился с ног: мост, что стоял на дороге от дома Ильича к станции, совсем расшатался, истлел, а по нему должны пройти тысячи, десятки тысяч людей.

Что делать? Как быть?

Построить новый мост и в обычных условиях дело трудное, а тут — горе горькое всем и каждому застит глаза. И стужа лютая все крепчает — топоры из рук валятся. Знамена покрываются инеем — не видать, где кончается красный, где начинается черный цвет.

Из Москвы срочно вызвали инженеров, специальные воинские части. Рано утром двадцать второго января саперы партиями начали прибывать в Горки.

— Ничего не скажешь, быстро приехали,— вздохнул солдат с медалями,— да только не успели ко времени...

— Как это не успели! Не может быть!— перебил кто-то из нас солдата.— Ты толком расскажи.

— Я толком и сказываю. Приехали, значит, инженеры, а старого моста в Горках уже нет, будто сроду его там и не было. Заместо него новый стоит. Не подумайте, чудо какое,— мужички сами за ночь построили. Деревень вокруг много, каждый двор по бревну приволок, каждый — костер запалил. Ну а остальное-прочее — русская смекалка. Самое трудное было — землю строгать. Закоченела насквозь — ни огонь, ни кувалда не берет. Ломом ударят — как чугун об чугун. К утру поддалась, однако.

Честно говоря, никто из нас не знал, верить солдату или не верить, а он помолчал, закурил, скосил глаза в оконную темень и опять за свое:

— Инженеры походили вокруг моста, постучали молоточками по бревнам. Потом еще саперы целым батальоном по мосту раз десять туда-обратно протопали. Хоть бы что! Стоит мосток, не шелохнется! Признали инженеры мужицкую работу справной, выдали тому мосту паспорт, чтобы по всем правилам...

— Легенда!— снова перебил кто-то увлекшегося солдата.— Но придумано хорошо, складно.

— Не знаю, легенда или не легенда,— поднялся со своего места солдат,— как хотите считайте, а мост тот батя мой своими руками строил, царство ему небесное.

Солдат стал не спеша пробираться к выходу. В самом конце вагона он обернулся в нашу сторону, сказал негромко, но так, что всем нам было слышно его совершенно отчетливо:

— Легенда так легенда. Пусть будет по-вашему. Только и я по тому мосту двадцать второго-то января самолично сапером шагал. Раз десять туда и обратно. Так-то вот!..

Поезд остановился. Солдат сошел на крохотной станции. Мы тронулись дальше.

Долго еще, до самой Москвы, сквозь стук колес все слышалось мне, как позвякивали медали на груди старого солдата.





В БЕРЕЗКАХ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Это произошло в самые первые годы Советской власти.

Сгорела в селе Березки церковь. Была она деревянная, старая. Сто лет мокла под дождем и снегом, сто лет сохла на ветру и солнце. Как

вспыхнула — до последней щепки сгорела. А колокол даже расплавился. Круглая медная лужа от него осталась на пепелище.

Погоревали мужики, покручинились, решили письмо в Москву послать: так, мол, и так, помочь просим.

Развели чернила, раздобыли листок бумаги, сели вокруг стола, а писать-то и некому — был один грамотный, и тот, как на германскую ушел, пропал без вести. Новые писаря не подросли еще.

— Да и ходит ли сейчас почта? Лучше самим ехать,— сказал пастух Никодим.— Для верности прямо к Ленину пробиться надо.

— Ну уж ты хватил, к Ленину!— засмеялись мужики.

— К нему!— настаивал пастух.— Он нашу жизнь понимает душевно. Он уважит, только подход к нему надо иметь.

— Ну раз ты такой умный да прыткий, тебе и ехать!

— А что ж, пожалуй,— поскреб за ухом Никодим.

Не знал он тогда, какой тяжелый крест сам себе выбрал. Нелегко было до Москвы доехать. Сколько буферов согрел своим телом пастух, сколько раз отставал от поезда!

Но главные трудности ждали его уже там, в кабинете Ленина.

Переступил Никодим порог и вдруг оробел. Ленин расспрашивает его, как доехал, как дела в деревне, а Никодим вокруг главного ходит, никак не скажет об истинной причине своего появления в Кремле.

Достал пастух из туеска пресную лепешку, угощает Ленина. Ильич улыбается:

— Вкусно. Очень вкусно! Но вы все-таки

признайтесь честно, зачем в такую даль приехали?

— Ежели честно, Владимир Ильич, мы к вам за колоколом. Церковь у нас сгорела...

— Вы это вполне серьезно?..

— Серьезно, Владимир Ильич. Всем народом кланяемся вам низко.

Ленин в полном недоумении встал из-за стола, развел руками.

— Превосходно! Нет, это просто очаровательно! К самому завзятому безбожнику пришли просить колокол! Этого бы и сам Лев Толстой не смог выдумать!..

— Да я... да мы... Может, кто зимой с дороги собьется — ударим в набат, чтоб, значит, спасти человека,— не очень ловко оправдывался пастух, которому вся эта затея с колоколом показалась и впрямь нелепой.

Ленин мелкими шажками ходил перед Никодимом, смеялся так громко и так заразительно, что пастух, глядя на него, начал виновато и обескураженно улыбаться.

Но было ему, в общем-то, не до шуток.

А Ленин вдруг, будто вспомнив что-то, направился к своему столу. Когда он обернулся, на его лице от смеха одни морщинки остались:

— Дорогой товарищ Никодим, не мне вам рассказывать, в каком положении страна. Нет не только хлеба и топлива, нет и металла. Мне вот срочно надо поговорить с одним заморским господином — вторую неделю не могу соединиться: порваны все линии, и нет меди на провода.— Ленин стал совсем серьезным.— Вам все ясно, товарищ Никодим?

— Все, Владимир Ильич.

— Ну, тогда по рукам! Извинитесь за меня

в селе. Так и скажите: не дал Ленин колокола, но причина у него уважительная.

— Так и скажу, Владимир Ильич.

Вернулся Никодим в свое село, рассказал мужикам все, как было, те только головами покачали:

— Зря человека от дела оторвал.

— Зря,— согласился Никодим,— а дел у него, видать, много, есть, стало быть, и поважней нашего.

А весной, когда уже все перестали вспоминать о Никодимовой поездке, в село из Москвы привезли колокол...

— Принимайте,— сказал подоспевшему Никодиму рабочего вида человек, сопровождавший необыкновенную посылку. Все село собралось посмотреть на диковинный колокол. Был он небольшой, чуть побольше обычной ступки, но майское солнце так играло на его светлых боках, что казался он огромным слитком серебра в руках Никодима, который подымал колокол над своей головой.

Стоявший подле пастуха рабочий громко прочел собравшимся надпись, славянской вязью горевшую на бортике колокола:

— «Мастер лил в городе Валдае...»

Он оглянулся вокруг, пристально поглядел в глаза притихших людей и сказал:

— Товарищи! Владимир Ильич просил передать вам, что он есть самый главный безбожник на Руси и во всем мире. Ну а дальше вы уже сами соображайте.

К зиме в Березках построили школу. По этому случаю собрались мужики и порешили:

— Церкви все равно у нас пока нет. Давайте колокол над школой повесим, а там видно будет.

По звонкому колоколу ребята окрестных деревень начали с книжками в школу бегать.

Вскоре создали в тех краях первый колхоз — колокол стал звать крестьян на работу, на труд, который впервые за всю историю страны был счастливым и радостным.

Когда началась Великая Отечественная война, над округой прокатились тревожные волны набата, и все люди от мала до велика сразу узнали звук родного колокола. Пошел народ защищать Отчизну.

Подаренный колокол и сейчас висит у школы, сияя серебром на солнце. Кто хоть раз побывает в Березках, тот никогда не забудет этого колокола, отлитого русским умельцем давно, но по сей день не утратившего чистоты своего голоса.

В Березках звонит колокол. И мне даже сдается, что с каждым годом звучит он все чище, все дальше слышится.





ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Года три назад из газет, а затем и из писем своих парижских знакомых я узнал, что ленинская квартира на улице Мари-Роз, так бережно хранимая французами, подверглась нападению бандитов. «Они заявились в пять часов утра,— говорилось

в одном письме.— У них в руках были железные палки. Ворвавшись в помещение, стали уничтожать все, что попадалось под руку. А когда поднялась тревога, трусливо исчезли».

Но маленький парижский музей Ильича не прекратил своего существования, не исчез с лица французской земли. Можно уничтожить драгоценные реликвии, исковеркать мебель, сжечь книги, но нельзя, невозможно искоренить любовь трудового Парижа к Ленину. Вскоре после этого случая, который обеспокоил парижан, на месте старой таблички с названием «Мари-Роз» появилась новая. На ней грифелем пока было написано: «Рю де Ленин». Трудно было сказать, удержится ли это название, станет официальным или вернется старое, привычное. Одно было несомненным — в сердцах многих уже родился, существует этот адрес в Париже.

Рассказывая об этом своим землякам в Москве, я не раз говорил, что, если они окажутся в Париже, сядут в такси и попросят свезти их на улицу Ленина, шофер переспрашивать не будет. Правда, при этом я всегда вспоминал, как плохо парижане знают свой город, как часто видел я там полицейских с картой в руках, долго объяснявших приезжим, как попасть в тот или иной район столицы. И вот я снова в Париже. Выхожу на вокзальную площадь, разыскиваю такси.

— Силь ву пле, месье! Мне нужно на улицу Ленина.

Только одно короткое мгновение длится раздумье таксиста. Лукавый взгляд, веселый щелчок двумя пальцами — и мы мчимся в другую часть города. Впрочем, «мчимся» — выражение фигуральное. В Париже два с половиной миллиона

автомобилей, часто образуются пробки. Ну а мне кажется, что я вообще никогда в жизни не ехал так медленно.

Наконец нужная улица, и на ней дом, возле которого шофер сам, без моих объяснений, останавливает машину. Подымаюсь по лестнице, звоню. Дверь отворяет человек, уже знакомый мне. Это месье Антуан Лежандр, хранитель ленинского музея. Приняв привезенную мной библиотеку — подарок московских писателей парижскому музею Ильича, Лежандр душевно благодарит. Долго листает каждую книгу, рассматривает автограф за автографом и, когда встречает написанные по-французски слова, прижимает руку к груди.

— Мерси боку, мерси боку! — восклицает Лежандр и приглашает осмотреть музей.

— О, здесь многое изменилось с тех пор, как вы тогда приезжали. Очень многое! Кое-кто пытался нам помешать, это правда. Но смотрите, как мы благодаря заботам ЦК Французской компартии восстановили все! Мы даже прикупили еще одно помещение, чтобы разместить экспонаты, которых становится все больше и больше.

Не все еще удалось собрать, что хотелось бы. Трудно отыскать, скажем, книги, изданные не позднее 1912 года, например «Войну и мир»,— Ленин читал ее здесь по-русски. Не удалось разыскать книгу генерала Клюзэрэ. Лежандр слышал, что один экземпляр этой книги есть в Женеве, в библиотеке «Общества любителей чтения». Я подтверждаю — есть, я видел там в прошлом году это издание. Оно хранится библиотекарем, с которым я имел удовольствие познакомиться. Его зовут господин Пико. Лежандр гово-

рит, что завидует библиотеке, у которой такие бесценные сокровища. Он с гордостью показывает мне один из самых дорогих и новейших экспонатов музея — скульптурный портрет Владимира Ильича, выполненный Томским.

Многие люди из разных стран стремятся оказать свою помощь музею. Лежандр рассказывает, что ему удалось под вмонтированным в стену зеркалом обнаружить прекрасно сохранившийся кусок обоев, которыми комната была оклеена при Ленине, в 1912 году. Попробовали сделать по этому образцу обои в Париже. Обратились в один синдикат, нашли хороших рисовальщиков, но дело застопорилось — предприниматель заломил огромные деньги: «Иначе не могу. В серию такие обои теперь не запустишь».

— Решили написать письмо в Москву, в Центральный музей В. И. Ленина,— говорит Лежандр.— Ответа не было месяца два или три. Мы подумали, что задали русским товарищам невыполнимую задачу. Но в один прекрасный день пришла посылка. Когда распаковали ящик, обнаружили в нем рулоны обоев — точь-в-точь таких, какие нам были нужны! Теперь ими оклеена комната Владимира Ильича. Вот полюбуйтесь.

Лежандр долго трясет мою руку, словно я самолично рисовал эти алые цветы, делал макеты, стоял за печатным станком.

Спрашиваю Лежандра, как часто приходят сюда люди.

— У нас сегодня какое число? Двадцатое?— Лежандр раскрывает книгу посетителей.— Вот вам строки, написанные всего час назад, а день еще только начинается.

Под словами на непонятном мне языке, под

убористыми колонками подписей нахожу дату: «20 марта 1983 года».

Вот еще записи. Их сотни, тысячи. Нескончаем поток людей, устремляющихся сюда, в эти крохотные комнатки, со всех концов земли.





ВИЖУ МОНБЛАН!

Швейцарец, с которым я разговорился на аэродроме в Женеве, сказал:

— Вам повезло. Смотрите, какая погода!

Что это? Обычные, ничего не значащие слова, какими обмениваются при встрече незнакомые

друг другу люди? Оказывается, нет. Здесь, на берегу Женевского озера, слова эти имеют особый смысл. Собеседник мой смотрит на серебристо-белую вершину, громоздящуюся за облаками, и говорит:

— Монблан видите? Хорошая примета! Не больше тридцати дней в году бывает такое зрелище.

Всматриваюсь, стараюсь получше разглядеть исполина, вознесшегося над горизонтом. Вспоминаю, как в Северной Осетии любовался Казбеком, и как мой друг осетин Азамат, живущий в Орджоникидзе, говорил, что мне посчастливилось — «привез такую погоду!» — и как потом раза два будил меня на рассвете: «Вставай, дорогой, Казбек опять появился!»

Рассказываю об этом швейцарцу.

— Наверно, у каждого человека свой Монблан, свой Казбек!— смеется незнакомец.

Впрочем, какой же он незнакомец? Он первый мой знакомый на швейцарской земле. Его зовут Анри, он шофер тяжелого грузовика. Живет недалеко от Женевы, в горах. Узнав, кто я, откуда и зачем приехал, приглашает в гости, крепко жмет руку. Уверяет, что мне будет сопутствовать удача. Благодарю его от всей души, не понимаю только почему «будет»? Удача уже шагает со мной в ногу — от самого трапа самолета.

ВСЕ РУССКИЕ ОДИНАКОВЫ...

Женева... Сколько о ней прочитано, сколько слышано! Где, где, а уж тут действительно «каждый камень Ленина знает». По этим улицам он ходил, по этим мостовым пересекал город на

велосипеде. Под этими платанами встречался с друзьями. Здесь выступал перед революционерами-соотечественниками, эмигрировавшими в Швейцарию. Тут, на станках рабочей типографии, печатал газету и листовки, отсюда переправлял их в Россию... Он впервые приехал сюда в 1895 году, чтобы встретиться с Плехановым. В 1900 году, после трехлетней ссылки в Сибири, Владимир Ильич снова прибыл в Женеву, чтобы наладить выпуск «Искры». В 1903-м вместе с Надеждой Константиновной и ее матерью Елизаветой Васильевной поселился в Женеве и прожил тут более двух лет, вплоть до революции 1905 года. Потом приезжал еще и еще.

Швейцарский литератор Морис Пианзола написал книгу «Ленин в Швейцарии». Она начинается с вопроса: «Почему эта книга не была написана уже давно? С мая 1895 года по апрель 1917 года титан современного мира Ленин прожил в нашей стране, порою с большими перерывами, в общей сложности около семи лет». Издание это вышло в Швейцарии, ГДР, Советском Союзе. Есть и другие хорошие книги о швейцарском периоде жизни Ленина — путеводители, очерки, фотоальбомы. Высокой оценки заслуживают работы А. Кудрявцева, Л. Муравьевой, И. Сиволап-Кафтановой. Будут и новые книги. В одной из женевских библиотек я познакомился с журналистом, который тоже думает написать о том, как жил и работал в Женеве и Берне, в Базеле и Цюрихе, в Кинтале и Циммервальде В. И. Ленин.

Как написать? В каком жанре? Это пока секрет автора. Он попросил до поры не называть его имени. Но факт остается фактом — человек изучает материал.

— У нас все нанесено на карты, зафиксировано в справочниках. Нужно ли ехать по всем адресам? — спрашивает меня женевец, вызвавшийся быть моим провожатым.

— Нужно. По всем, — отвечаю без колебаний.

— Но некоторых домов, где жил Ленин, к сожалению, не сохранилось. Иные наши маршруты будут носить чисто символический характер.

— По всем адресам! — настаиваю я.

— Все русские одинаковы! — смеется мой гид. — Поверьте, не было еще приезжего из СССР, который ответил бы иначе.

— Мы всё любим увидеть своими глазами. Да и просто хочется подышать воздухом этих мест.

— Я же говорю, вы все похожи друг на друга! Только учтите, воздух тоже уже совсем не тот.

Спутник мой прекрасно понимает, о каком «воздухе» я говорю, но не может, пользуясь удобным случаем, не выругать цивилизацию, которая давит красавицу Женеву со всех сторон, отравляет ее бензином самых прославленных марок.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Мы в районе бывшего предместья Женевы — Сешерон. Здесь рядом с парком на берегу Женевского озера Ленин с июня 1903 года по июнь 1904 года жил в небольшом домике на улице Фуайе, 10.

Провожатый мой рассказывает:

— В те времена тут были сплошные велосипеды. Теперь — сплошные машины.

Машин действительно так много, что даже нашему крошечному «фольксвагену» негде остановиться хоть на минуту.

— И все-таки остановимся,— прошу я.

Несколько раз проезжаем по одной и той же улице, прежде чем удается найти просвет в сплошном ряду машин, прилепившихся к тротуару.

— Ну и местечко! Голова кругом. Но я думаю, что, если бы Ленину пришлось сегодня выбирать себе квартиру в Женеве, он опять облюбовал бы эти места.

— Почему вы так считаете?

— Недорого! И рабочий класс рядом. Дом номер десять не дожил до наших дней. В 1963 году старые дома улицы Фуайе были снесены, на их месте возникли новые. Сейчас трудно даже приблизительно определить, где именно стояла эта «десятка», но у нас в Женеве многие знают, что это был за дом. Здесь, в Сешероне, Ленин написал книгу «Шаг вперед, два шага назад». Отсюда она была переправлена в Россию, где получила широкое распространение среди рабочих. На титульном листе первого издания указано: «Женева. 1904 год».

«Фольксваген» везет нас с окраины в центр, на площадь Пленпале.

— Ленин прожил тут совсем недолго,— говорит мой спутник,— но и этот адрес хорошо известен в Женеве, хотя место это никак не отмечено.

Дело, конечно, не в том, «отмечен» или «не отмечен» официально тот или иной ленинский адрес. Дело в людской памяти, а она бережно сохраняет эти места. От квартала к кварталу, от дома к дому катится «фольксваген». Авеню дю Май, улица Коллин, улица Каруж, улица Марэше... На каждой непременно останавливаемся. На каждой с блокнотом в руках выхожу из маши-

ны. Запрокинув голову, всматриваюсь в указанные мне окна. По лицам прохожих, бросающих в мою сторону понимающие взгляды, вижу: знают, зачем я здесь. Улыбаются. Не осуждают за любопытство. Готовы чем-нибудь помочь, если надо. Мы не разговариваем, и все же у нас происходит хоть и безмолвный, но полный значения разговор.

А вот и официально отмеченный адрес Ленина в Женеве: на фасаде старого пятиэтажного здания на улице Давида Дюфура — мемориальная доска. Она была сооружена в 1967 году, к 50-летию Советской власти. На доске написано: «Владимир Ильич Ульянов-Ленин — основатель Советского Союза — жил в этом доме в 1904—1905 годах». Отсюда он в ноябре 1905-го уехал в Россию, чтобы действовать и выступать, как он выразился, не из «женевского далека», а перед тысячными собраниями рабочих на улицах Москвы и Петербурга, перед свободными сходками русских крестьян.

Спутник мой рассказывает, что он присутствовал на церемонии открытия доски на доме № 3.

— Вернее, не присутствовал, а участвовал,— сам себя поправляет он.— Волнующее было событие. Незабываемое! Со всех концов города пришли люди на улицу Давида Дюфура. Состоялся митинг. Один за другим поднимались на трибуну ораторы. После митинга грянул «Интернационал». Его под оркестр пела вся улица, а мне казалось: вся рабочая Женева поет!..

Стою перед домом с мемориальной доской, вглядываюсь в нее, а рассказ моего провожатого переносит меня в Цюрих, где подобная доска установлена на фасаде дома № 14 по Шпигель-

гассе, в котором Владимир Ильич жил в 1916—1917 годах. Оттуда 9 апреля 1917 года Ильич направился в революционный Питер.

СТОЛИК В КАФЕ

Когда я собирался в Швейцарию, мой московский друг писатель Николай Евдокимов просил меня обязательно побывать в женевском кафе «Ландольт». Кафе это знаменитое. Там, в небольшой комнатке, специально отведенной хозяином для русских политэмигрантов, в 1903—1905 годах часто встречались большевики, обсуждая события в России, думая о ее будущем. Вместе с Лениным и Крупской тут бывали Бауман, Воровский, Бонч-Бруевич, Луначарский, Литвинов... Рядом с кафе — университет с его прекрасной библиотекой, в которую приходил заниматься Владимир Ильич. Здесь, встречая с друзьями Новый, 1904 год, Ленин произнес тост за успехи революционного движения русского пролетариата. А вскоре тут заседал Совет партии, являвшийся в то время высшим учреждением РСДРП.

Евдокимов был в Женеве несколько лет назад, отыскал кафе «Ландольт», посидел там за деревянным столиком, испещренным памятными надписями.

— Посмотри этот стол!— напутствуя меня, говорил он.— Это что-то удивительное! Я хотел сфотографировать, да аппарата с собой не было.

Прошу своего провожатого свезти меня в «Ландольт». Он разочарованно разводит руками:

— Да, романтическое было место! Всегда многолюдное, шумное. Особенно любила «Ландольт» молодежь. Но ваш друг опоздал со своей

просьбой. Недавно снесли дом, в котором помещалось кафе. На его месте построили банк. Правда, кто-то из знакомых рассказывал мне, что небольшой «филиал» старого «Ландольта» соорудили где-то поблизости. Давайте заедем, и все сами увидим. Выражаясь вашими словами, подышим воздухом.

И вот мы на улице Кандоль. Она упирается в зеленый приуниверситетский парк с вековыми деревьями. Сквозь их стволы издалека проглядывает дом трапециевидной формы — он вырос на месте здания, в котором помещалось кафе. В нескольких десятках метров от него находим маленькое, летнего типа одноэтажное строение. На нем вывеска: «Ландольт». Входим. Садимся за первый попавшийся стол. Официант ставит перед нами две кружки пива.

— То самое, которое тут «тогда» пили,— «Кардинал»,— попробовав, говорит мой спутник.

— Вот видите, значит, не зря ехали.

Я люблю пиво, а это пью с особым удовольствием. Пью, посматривая в окно,— через него видно здание университета вместе с тем его крылом, где находится библиотека. Кладу руку на бумажную салфетку, которой застлан стол, машинально разглаживаю ее тонкую кружевную поверхность и вдруг замечаю, что под пальцами у меня, несмотря на царящую здесь чистоту, будто катаются какие-то крошки. Приподымаю край салфетки и вижу: глубоко врезанные в старое, потемневшее от времени дерево на меня глядят буквы, даты... Вся поверхность доски буквально испещрена таинственными заметами. Вместе с моим спутником начинаем разглядывать «автографы», оставленные тут неизвестно кем. Водим пальцами по прыгающим строчкам. Вот явно

русская надпись: «Д. М.». Чей перочинный нож оставил этот след? Когда? Что хотел сказать человек? Кому? Вот еще одна — «И. Ф. + Б. Э.». Кто скрепил здесь таким образом свой союз? Может быть, эти двое поклялись рука об руку пройти целую жизнь, посвятив ее революции?

Снова достаю свой блокнот тщательно переписываю в него все надписи.

Бросив взгляд в сторону, вижу в одном из уголков кафе ту же самую картину. Там тоже, оказывается, стол из т о г о «Ландольта». Совсем молодой человек, склонившись над коричневой доской, разглядывает письмена...

СТИХИ НАД ГОРАМИ

В Женеве стоит настоящая весна. Разрываются под солнцем почки ив и берез. Трава в скверах полыхает чистыми, яркими красками. Люди идут без пальто, без головных уборов. Но горы сверкают снегами. По случаю воскресного дня все устремляются туда, чтобы покататься на лыжах. Меня тоже приглашают совершить поездку в горный район Юра, я охотно соглашаюсь, хотя специального снаряжения у меня с собой нет. Общими усилиями кое-как экипируюсь. Очень скоро из весны попадаем в зиму. Даже не верится, что тридцать минут назад слушали перекличку скворцов, оккупировавших Женеву.

Сперва едем машиной. Потом спешиваемся, надеваем лыжи и, ухватившись за поручни одного из многочисленных канатных подъемников, забираемся чуть не под облака. У меня дух захватывает, а подъемник все тянет и тянет. Впрочем,

поручень можно отпустить в любую минуту и с этой самим тобой выбранной точки начать спуск. Но как не посоревноваться с другими, когда кругом раздается задиристый смех спортсменов, самому старшему из которых не меньше семидесяти, самому младшему — не больше пяти!

Из меня сламомист, прямо скажем, неважный. Часто падаю, наедаюсь снега. Но я давно заметил: чем невероятнее приключения, тем больше неожиданных встреч. Так и тут. На крутом вираже в очередной раз по самую шею зарываюсь в сугроб, громко кричу что-то своим компаньонам. Они далеко, не слышат, но откуда-то из чащобы ко мне устремляются двое — он и она.

— Вы кричали? — спрашивают на ломаном русском языке.

— Я.

— Тогда будем знакомы! Жан и Ингрид. Ваши друзья.

Крепко жмем друг другу руки, решаем остальную часть дня провести вместе. Жан и Ингрид не отпускают меня ни на шаг. Учат слалому, говорят, что ученик я способный. А я в свою очередь преподаю швейцарцам русский и говорю, что получается у них неплохо — почему бы не ответить вежливостью на вежливость, тем более что успехи действительно налицо.

Накатавшись всласть, останавливаемся на отдых, разводим костер. Греясь у огня, Жан рассказывает о самом главном событии в своей жизни. В июне 1970 года он был в Москве. В первую же ночь ему не спалось, он пошел на Красную площадь, долго стоял перед Мавзолеем, а вернувшись в гостиницу, написал стихи.

— Хотите послушать? Мне перевели их недавно на русский.

— Конечно, хочу!

Жан достает записную книжку, сдвигает на лоб темные очки, медленно, по складам читает:

Кремлевских башенных часов,
Я вижу, стрелки золотятся,
С полуночью июньской в такт шагая,
В зенит взметнувшись.
И слышу, слышу я, как бьется
Над миром сердце Ленина живое,
Как сильно бьется в унисон — мое!

Жан читает тихим, мягким голосом, но мне вдруг начинает казаться, что слова стихов гремят над горами. Даже снег с пихты осыпается к нашим ногам...

ГРАНД-РЮ, 11

Этот адрес знают теперь многие люди во всех концах света. Там помещается библиотека «Общества любителей чтения». Я приезжал сюда, чтобы познакомиться с библиотекарем Пико, который любезно согласился показать мне все, что имеет отношение к Ленину.

На пороге старинного трехэтажного здания меня встречает приветливый, жизнерадостный человек. Уже на пороге говорит мне, что основной каталог сохранен тут таким, каким был при Владимире Ильиче, когда он перед революцией 1905 года читал здесь нужные ему книги.

Попасть в эту библиотеку было нелегко, поступающему надо было представить авторитетные рекомендации. 13 декабря 1904 года президент «Общества любителей чтения» объявил на заседа-

нии кандидатуру Ульянова. Его рекомендателем был П. Бирюков, секретарь Л. Н. Толстого.

Смотрю сохранившиеся документы — протокольную запись этого заседания, анкету, заполненную рукой Ильича, его заявление на имя президента.

Прошу показать мне книги, которые читал Ленин.

На стол ложатся мемуары генерала Клюзэрэ о баррикадных боях во Франции, «Записки декабристов», изданные в Лондоне в 1862 году. На полях «Записок» — едва заметные карандашные пометки. Нахожу их на страницах 56 и 87.

— Это ленинская рука? — спрашиваю Пико.

— Мы думаем, да.

А вот книга тоже с не совсем обычной биографией: Владимир Ильич брал ее домой и не возвращал несколько месяцев — «Коммуна 1871 года».

— Значит, Ленин нарушал существовавшие тут порядки?

— О нет!— улыбаясь, говорит Пико.— Он просил разрешать ему в виде исключения еще подержать эту книгу.

Пико ведет меня по всем помещениям библиотеки.

— Вот читальный зал, вот зал периодики. Был у нас еще один зал — в нем чаще всего занимался Ленин — «Зал с глобусом». Он, к сожалению, не сохранился, но есть фотография. Вот она. Тут, сидя возле глобуса, писал он статьи для газет «Вперед» и «Пролетарий». Вот и сам глобус — на деревянной подставке у стены...

Слушаю рассказ Пико, а он, видя, что я стараюсь не упустить ни одной детали, ведет меня от реликвии к реликвии.

— К нам приходят письма со всех концов земли. Хотите посмотреть?

В руках у меня огромная папка, наполненная белыми, синими, пестрыми конвертами с марками разных страх. Пишут из Польши, Румынии, Франции, Канады, Норвегии, Швеции, из Советского Союза. Прошу разрешения сделать выписки из некоторых писем.

Послание школьников Симферополя адресовано непосредственно библиотекарю Пико:

«В Вашей библиотеке работал Ленин. Расскажите, пожалуйста, сохранились ли книги, которые он читал? Если есть фотографии, вышлите нам — это очень нужно, мы создаем свой музей. Успехов Вам и большого счастья!»

К нему же обращаются комсомольцы из города Клинцы Брянской области:

«Мы готовимся встретить юбилей Ленина. Вышлите, пожалуйста, фотографии, письма, документы о пребывании Владимира Ильича в Вашем прекрасном городе Женеве.

По поручению всех комсомольцев — *Тамара Чуйкова*».

— Все корреспонденты получают ответ,— как о само собой разумеющемся говорит Пико.

В заключение он показывает мне альбом, на обложке которого написано: «Золотая книга». Тут портреты руководителей и ряда членов «Общества любителей чтения». На одной из его страниц — большая фотография Ленина.

— Что передать Москве, москвичам?— спрашиваю Пико, когда настает время прощаться.

— Сердечный привет передайте. Скажите, что все, связанное с именем Ленина, храним и будем хранить долго. Всегда.

БАРЕЛЬЕФ

Я много слышал всякого рода преданий и легенд о Ленине. Есть свои легенды и тут, в Женеве.

На одной из старинных каменных башен города — башне Молар еще в 1921 году был сооружен барельеф, посвященный Женеве — центру революционной эмиграции конца XIX—начала XX века. Город предстает перед нами в виде женщины, пришедшей на помощь человеку, вынужденному покинуть родину и искать убежище на чужбине. Над барельефом высечены слова: «Женева — город изгнанников». Молва утверждает, что скульптор Поль Бо изобразил тут не абстрактного эмигранта, а В. И. Ленина, его характерные черты.

Впрочем, на этот счет существуют разные точки зрения. Одни готовы биться об заклад, что эмигрант этот и есть «сам Ленин». Другие, когда заходит речь о барельефе на башне Молар, скептически пожимают плечами:

— Не больше чем легенда...

Я несколько раз приходил к башне Молар, находящейся на площади того же названия. Подолгу смотрел на выбитую в камне картину. Сходство с Лениным у изображенного на ней человека поразительное. Та же бородка клинышком, тот же огромный лоб мыслителя, те же проницательные, полные ума и страсти глаза...

Стоишь на площади перед башней, выбираешь место, откуда лучше всего смотреть, а за спиной у тебя кто-нибудь разговаривает:

— Правда, похож?

— Правда!

— Это еще свет сейчас не так падает. Вы рано утром придите или перед самым закатом, тогда увидите!

Я являлся сюда и рано утром, и под вечер. Каждый раз «Изгнанник» Поля Бо все больше и больше казался мне похожим на Ленина.

БЕССМЕРТНИКИ

Из Женевы мой путь лежит в Берн, столицу Швейцарии. В этом городе тоже множество ленинских адресов. Провожатый теперь уже не спрашивает, по всем или не по всем из них мы отправимся. Интересуется только тем, в какой последовательности будем смотреть. Я говорю, что порядок для меня не имеет существенного значения, лишь бы не было про́пусков.

За день мы успели исколесить бессчетное количество улиц. Целый блокнот исписал я их названиями, номерами домов и квартир, наименованиями библиотек, типографий, кофеен, самыми краткими сведениями о них.

Начали с библиотеки, где Ленин бывал особенно часто. Тут он работал до обеда, потом пешком шел до кафе «Дю-театр» («Театральное»). Мы проделываем этот путь, поглядывая на спидометр машины. Примерно два километра. В кафе Владимир Ильич брал чашку чая, прочитывал свежие газеты и шел дальше, домой. Ради экономии тоже пешком. В то время он очень нуждался, часто отказывал себе во многом, даже самом необходимом. Квартиры снимал с таким расчетом, чтобы уложиться в строгий бюджет.

Вот одна из квартир — на улице Доннербюль-

вег, 33. Плата здесь оказалась неприемлемой для Владимира Ильича, и он вскоре переехал.

Мы возле другого дома — гораздо более скромного,— на улице Дистельвег, 11. Тут Владимир Ильич прожил дольше.

Внимательно разглядываю дом сперва снаружи, потом со стороны внутреннего дворика. Всматриваюсь в указанное мне окошко. Сначала не вижу ничего примечательного. Дом как дом, окно как окно.

— Присмотритесь как следует,— говорит мой провожатый, берет меня за руку, и мы вместе делаем несколько шагов назад, к противоположной стороне улицы.— Вот отсюда взгляните. Видите что-нибудь?

— Теперь вижу!

С подоконника сквозь поблескивающее на солнце стекло глядит на меня букетик бессмертников.

Чьей рукой он поставлен тут? Что символизирует собой?

— Может, простая случайность? Тут ведь любят цветы.

Начинаем вдвоем смотреть во все многочисленные окна дома — никаких цветов нигде больше нет. Только в этом, ленинском.

ШУМИТ БРЕМГАРТЕНСКИЙ ЛЕС...

В Бремгартенский лес, находящийся недалеко от рабочей окраины Берна, мы приехали ранним утром. Прежде чем попасть сюда, проезжаешь мимо бесконечных фабричонок, мастерских, складов. Так было тут и в те дни, когда Ленин отправлялся с друзьями в этот лес. Отправлялся не

столько ради отдыха, сколько ради конспирации, ради того, чтобы скрыться от слежки.

Владимир Ильич сам облюбовал это место. Здесь обсуждались все партийные дела. Именно тут, в Бремгартенском лесу, началось совещание бернской группы большевиков, длившееся с 6 по 8 сентября 1914 года. Укрывшись на одной из тенистых полян, Ленин изложил тогда четкую программу борьбы партии против империалистической войны. В совещании кроме В. И. Ленина приняли участие Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, В. М. Каспаров, Ф. Н. Самойлов, Г. Л. Шкловский, М. Л. Гоберман и другие товарищи. На совещании были приняты тезисы Ленина «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне»...

Исторический, одним словом, лес. Не лес, а живая реликвия. Все здесь, под этими деревьями, как в Женеве и в Берне, как в Базеле и Цюрихе, как еще в десятках мест Швейцарии, напоминает об Ильиче, о его титанической работе.

Больше чем за полвека лес сильно изменился. Деревья стали кряжистей, выше, шире распростерли свои ветви над землей, но это именно те самые деревья, та самая земля, тот самый лес.

Ранним утром он шумит на весеннем ветру, и я представляю — так же точно шумел он и много лет назад, шумел, чтобы никто не слышал, о чем тут говорилось. И вот так же журчала вода, вытекающая из серой каменной глыбы. Это колодец, носящий поэтическое название «Глассбруннен». Более точного имени для него не придумаешь — вода действительно как стеклянная, стерильно чистая, прозрачная. Так и манит к себе: «Напейся!» По твердому убеждению моего спутника, Ленин не раз пил из этого колодца.

— Сами посудите, другого источника тут нет и не было, а Владимир Ильич приходил сюда надолго, иной раз на целый день.

А может, и вправду пил? Подхожу к колодцу вплотную, приседаю на корточки, ловлю губами стеклянную струю. Капли студеной воды стекают за ворот.

— Да вы не стесняйтесь, пейте еще. Не встречал я тут человека, который бы не попробовал этой водицы. Я тоже сейчас отведаю. В который раз уже!..





В ОДНОЙ ГОСТИНИЦЕ

В тот день, когда я поселился в гостинице, горничная, пожилая, седая женщина, сказала мне тихо:

— Здесь жил Ленин.

Она едва заметно кивнула в сторону узкой невысокой двери, выходившей в длинный коридор

второго этажа, и, видимо уловив мой нечаянный жест, повторила:

— Не верите? В этом самом номере.

— Нет, отчего же, вполне возможно, но почему это такой большой секрет? Я хотел бы войти, посмотреть.

Горничная улыбнулась:

— О, я обязательно покажу эту комнату русскому, но не сейчас, когда будет свободна. Лучше всего завтра утром.

Она помолчала, потом добавила, будто извиняясь эа кого-то:

— По утрам там никого не бывает.

Весь остаток дня, шагая по чужому городу, вслушиваясь в непривычную речь, вглядываясь в лица незнакомых людей, вспоминаю о разговоре с горничной, верю и не верю ее словам. А утром в мою дверь раздается еле слышный стук. Открываю. Передо мной с гофрированной трубкой пылесоса в руках стоит вчерашняя знакомая.

— Сейчас можно посмотреть.

Быстро собираюсь. По отлогой каменной лестнице спускаемся на второй этаж, переступаем порог комнаты, поначалу вроде бы ничем не приметной.

Здесь все как и в других номерах гостиницы на маленькой улочке города тихой северной страны — такая же деревянная кровать, такой же стол, такой же пейзаж за окном.

Но вот я всматриваюсь в движения женщины — как переставляет она стулья, как стирает пыль с подоконника, как легко, почти невесомо ступает по ветхому коврику,— и все вещи в комнате вдруг оживают.

Вот она дотрагивается до ваэы с цветами, проводит тряпицей по звенящим стеклянным

граням, меняет воду у цветов, повертывает каждый из них венчиком к солнцу, отступает на шаг, возвращается снова к вазе, осторожно расправляет лепесток, заблудившийся в тюлевой занавеске, и неизъяснимое чувство охватывает все мое существо.

— Мадам, так было здесь и при нем?

— Да, именно так все и было. Это я от матери знаю.

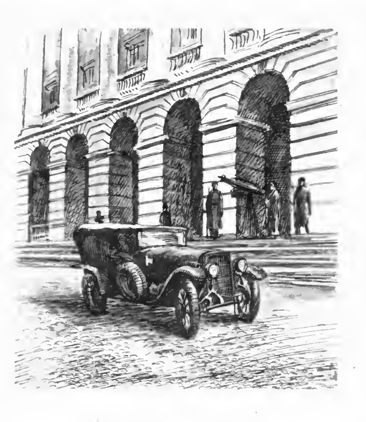
Женщина касается пальцами спинки стула и подходит к светлому окну, в стекла которого постукивают почками упругие ветки скандинавской неторопливой весны.

Мне довелось прожить в гостинице дней пять или шесть. Каждое утро раздавался осторожный стук в дверь моего номера, и я слышал знакомый голос:

— Это опять я. Иду убирать в той комнате.

Так несколько раз побывал я в музее Ленина — еще никем официально не созданном, но уже много лет бережно хранимом простой старой женщиной.





ТРУБКА ГЕНОССЕ ДОЖДИКОВА

Так случилось, что со старым немецким коммунистом Эрвином Бекиром я повстречался в Берлине перед самым моим возвращением домой из короткой командировки в ГДР. До отхода московского поезда оставалось немногим более двух часов, когда в моем номере раздался теле-

фонный звонок и мембрана донесла до меня густой незнакомый голос:

— Вы искали меня? Я есть Бекир. Меня не было в Берлине. Теперь я есть совсем рядом, хочу заехать за вами в отель. Это можно?

— Конечно, Эрвин, конечно! И чем скорее, тем лучше.

Через несколько минут порог комнаты в гостинице на Унтер ден Линден перешагнул высокий добродушного вида человек и, протянув мне сразу обе руки, заговорил, перемешивая русские слова с немецкими:

— Гутен абенд, геноссе! Я уезжал в Лейпциг. Как хорошо, что мы все-таки встретились.

Я ответил тоже на чистом «русско-немецком»:

— Зер гут, геноссе Эрвин, зер гут! Я так много слышал о вас! Не повидаться было бы обидно. Только вот ведь какая досада — теперь я уезжаю из Берлина. Поезд в Москву в двадцать сорок...

Приветливая улыбка на лице немца сменилась озабоченной, словно это он, Бекир, несет персональную ответственность за то, что иные зарубежные командировки столь скоротечны. На высоком лбу его завязался тугой узел морщин.

А я, принесши Эрвину тысячу извинений за царивший в комнате предотъездный беспорядок, сбегал к дежурной по этажу, раздобыл у нее подаренный кем-то из русских электросамовар и объявил гостю, что, несмотря ни на какой цейтнот, чайку мы все-таки выпьем.

Бекир, глянув на часы и убедившись в том, что времени остается действительно совсем мало, принялся помогать мне собраться в дорогу.

— Дас ист нихт швер!— объявил он.— У меня большой опыт.

Вдвоем мы довольно быстро уложили мои

повсюду разбросанные вещи. Через каких-нибудь полчаса готовый в путь чемодан сверкал застегнутыми пряжками.

Эрвин, довольный нашей работой, торжественно сформулировал:

— Русский темп плюс немецкая аккуратность!

— Драйсиг минутен чистой экономии! — постарался я внести свою долю в формулу.

— Я, я, я, — обрадовался Эрвин, — драйсиг минутен! Значит, успеем еще ко мне домой. Фрау Бекир ждет нас, геноссе, будет очень рада.

Я вынужден был огорчить его еще раз:

— А к вам, Эрвин, все равно никак не успеем. Передайте мои извинения фрау. За мной сюда скоро заедут и повезут на вокзал.

— Кто заедет? — удивился Бекир. — Это не секрет?

— Не секрет. Мои друзья, немецкие пионеры, — сказал я как о чем-то само собой разумеющемся. — Русским владеют не хуже нас с вами. Раздобыли где-то микроавтобус, ждите, говорят, в двадцать ноль-ноль.

Эрвин от неожиданности сел верхом на чемодан:

— Браво! Прекрасно, геноссе! Русского, участника войны с фашизмом, придут в Берлине провожать в Москву немецкие пионеры! И я уверен, с цветами придут. Думали вы о таком в сорок первом году, геноссе? А?..

Я сознался, что не думал и много позже, но вот судьба распорядилась так, как ей было угодно.

— Хорошая судьба! — воскликнул Бекир. — Отличная!

Он, продолжая сидеть на чемодане, еле заметно улыбнулся. Мысль его, как мне показалось,

витала в тот миг где-то далеко-далеко. Где именно?— силился угадать я и не мог этого сделать. А Эрвин, немного помолчав, пробасил:

— Раз уж речь зашла о судьбе, я должен вам кое-что показать. Айн момент, геноссе, айн момент...

Он запустил руку во внутренний карман пиджака, и передо мною замелькали листки старого блокнота, вдоль и поперек исписанные мелким почерком. Листки рассыпа́лись, пальцы не слушались немца. Узел морщин над его бровями затягивался между тем все туже — мне было видно это теперь особенно явственно.

Я знал историю антифашиста Бекира, знал, как нелегко складывалась подчас его жизнь, особенно в военную пору, и подумал: ищет что-то, связанное с войной. Сказал ему об этом. Бекир полусогласился:

— Не совсем так, геноссе, не совсем так. Но близко к тому, очень близко! Как это в детстве было — холодно-горячо, да?

Я ответил, что у русских, как и у немцев, тоже существует такая игра, и даже попытался еще раз продемонстрировать свое знание немецкого. Хватило меня, однако, только на первое слово — «кальт».

Эрвин помог мне найти другое, а сам, продолжая листать блокнот, вдруг с досадой хлопнул себя по лбу.

— В другом блокноте?— спросил я.

Эрвин кивнул:

— Склероз... Я сильно спешил и все перепутал, геноссе. Неужели мы не сможем заехать ко мне? Это есть совсем близко. Я хотел показать вам некоторые свои записи. Там есть и то, что вас очень заинтересует. Воспоминания о Дождикове.

Пришел мой черед удивляться:

— О Дождикове?..

— О геноссе Дождикове,— повторил Бекир, встал с чемодана и шагнул к столу.

Я вынужден был признаться, что о «геноссе Дождикове» никогда раньше не слышал.

На это Эрвин ответил:

— А я был знаком с ним. Вот смотрите.

Из другого кармана Бекир осторожно извлек бумажник, из бумажника — целлофановый пакет с фотографиями. Разложив их передо мной, сказал:

— Смотрите внимательно.

Фотографий оказалось много, десятка полтора. С одних на меня глядел пожилой человек в темной морской форме. На других была запечатлена курительная трубка, каких я видел в жизни сотни, если не тысячи. Трубка эта никакого интереса у меня, честно сказать, не вызывала. Что касается моряка, то в его лицо я стал всматриваться самым пристальным образом. Однако, сколько ни вглядывался, ни одной знакомой черты обнаружить не мог. Пришлось признаться в этом Эрвину. Он повторил, что имел честь лично знать Дождикова.

Эрвин снова сел верхом на чемодан и в оставшееся до прихода пионеров время рассказал мне про Дождикова, про его трубку и про многое другое.

...Это было вскоре после войны. Праздновался юбилей Ленинграда. Эрвин получил возможность приехать на торжества — должен был по просьбе одного берлинского издательства сделать фотоальбом, посвященный знаменитому городу. Ходил по улицам, по площадям и фотографировал, фотографировал с утра до ночи.

Однажды на стадионе имени Кирова Бекир увидел колонну старых большевиков. Подошел,

стал разговаривать. Особенно один человек понравился.

— Не молодой, но и не совсем старый. Такой, как мы с вами,— полувесело-полугрустно заметил Эрвин.— Да, да, этот самый, которым вы сейчас любуетесь. Правда, красавец? Усы и брови белые, как в морской пене.

Познакомившись с моряком, Эрвин узнал, что тот почти полвека проработал в Арктике, стоял на вахте в любую погоду, так что она, пена эта, не воображаемая, а, можно считать, самая настоящая, соленая.

Я согласился с Бекиром: даже в ресницах моряка, казалось, поблескивали кристаллы соли.

Немец сказал, что сразу пришел тогда к решению начать свой ленинградский альбом именно с Николая Дождикова — очень уж колоритным был весь его облик. Вечером того же дня специально встретился с ветераном и твердо понял — в выборе своем не ошибся.

В дни Октября Дождиков работал в Петрограде на радиостанции. Редкая у него была для тех времен профессия. Один из немногих радистов, Дождиков понадобился революции сразу же, немедленно. 27 октября 1917 года к нему, только что отстоявшему смену, явился посыльный и прямо с порога объявил: «К вам срочное дело, товарищ Дождиков». Николай и без всяких объяснений понял — зря в такой поздний час человека тревожить не станут. Поглядел поверх занавески и окончательно в том уверился — под окном стоял легковой автомобиль с невыключенным двигателем. Уже в дороге спросил, от кого, мол, поручение и какое. Шофер и посыльный молча переглянулись: неужели, дескать, непонятно, от кого могут сейчас исходить самые важные поручения?

Лишь оказавшись в Смольном, узнал Дождиков, какой достался ему жребий. Предстояло передать по радио первостепенной важности документ. Почему именно на него, Дождикова, пал выбор? Да потому, объяснили, что будто бы сам Ленин о том распорядился. И не «будто бы», а совершенно точно. Через несколько минут радист уже стоял перед Владимиром Ильичем, и тот объяснил причину их неотложной встречи. Только что Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире. Необходимо сделать так, чтобы люди сейчас же об этом узнали.

— Вам все понятно, товарищ Дождиков?— спросил Ленин.— Не подведет ли техника? Надежны ли товарищи на радиостанции?

От этих слов Ильича Дождикову, как он откровенно признался Бекиру, стало страшновато. В себе-то он был уверен — все сделает точно как надо. И в товарищах не сомневался. А вот техника... Капризная штука! Не скрыл этого от Ленина. Так, мол, и так, Владимир Ильич, боюсь я за чертовы эти волны. Волна есть волна — что в море, что в небе. Неизвестно, какой трюк выкинет.

— А вот бояться не надо, товарищ Дождиков, все нормально будет, уверяю вас,— попробовал успокоить радиста Ленин, хотя сам был возбужден до крайности, только старался того не показывать.— Так все ли вам ясно, товарищ Дождиков? — повторил свой вопрос Ленин.— Учтите, ответственность мы с вами берем на себя огромную — и вы, и я.

Дождиков чуть было не спросил: а вы-то почему, Владимир Ильич? Но вовремя остановился. Понял — просто решил Ленин поддержать человека, которого взяла оторопь. Тут радист и дейст-

вительно немного успокоился, даже попробовал пошутить:

— Раз такое дело, за аппарат сядем оба, Владимир Ильич: я и вы. Для надежности.

Ленин от шутки той был в восторге:

— Справитесь, товарищ Дождиков. Теперь я точно знаю — справитесь! И техника не посмеет ослушаться, если совесть у нее есть. Есть у нее совесть, товарищ Дождиков? Классовое сознание? Ведь свои же, рабочие рукн ее мастерили.

— Свои, рабочие,— согласился Николай.— Постараемся, Владимир Ильич.

— Ну и прекрасно, товарищ Дождиков. Я твердо верю в успех.

Сказав зто, Ленин вручил радисту скрепленные булавкой листки с машинописным текстом. Потом велел дать Дождикову машину и во весь опор мчать его в Царское Село, где находилась тогда главная радиостанция России.

Пока добирались до места, Дождиков при зыбком свете начавшей заниматься зари читал-перечитывал радовавшие сердце строки. И чем внимательней вчитывался, тем в большее приходил волнение. «Всем, всем, всем!..— подумать только! Пройдет совсем немного времени, и зто услышат за морями-океанамн...»

Когда подъехалн к Царскому Селу, Дождиков текст декрета знал почти наизусть и в случае чего мог, пожалуй, передать в зфир без бумажкн.

На радиостанции Дождикова уже ждали — из Смольного звонили, оказывается, сто раз, справлялись, все ли в порядке. И сто раз предупредили: когда кончится передача, пусть Дождиков лично доложит Ленину.

— Ну разве могла после зтого «подвестн технпка»?!— воскликнул Эрвин.— Нет, конечно,

не подвела, хотя поволноваться заставила всех.

А из Смольного, как только там стало известно, что Дождиков благополучно прибыл на станцию, всякие звонки вдруг прекратились. Только потом узнали, в чем дело: Ленин попросил не тревожить людей, дать им возможность сосредоточиться на своей работе.

Николай Дождиков рассказал Эрвину Бекиру, как выдержали радисты в тот день труднейший за всю свою жизнь экзамен.

Когда декрет наконец «отстучали», у Дождикова едва хватило сил подойти к телефону, а нужных слов не нашлось и вовсе. Ленин заговорил первый:

— Спасибо, товарищ Дождиков, я все уже знаю. Огромнейшее спасибо!

В конце короткого этого разговора Владимир Ильич якобы спросил радиста, чем и как можно отблагодарить его. Дождиков сперва не понял Ленина. Тот повторил вопрос. Разобравшись, о чем идет речь, Николай засмущался, сказал, что очень плохо слышит, мешают, мол, помехи.

Ленин будто бы усмехнулся в ответ:

— Значит, техника все-таки подводит? Не в том, так в этом? Вы находитесь всего в тридцати верстах и моих слов не слышите. Придется вам, товарищ Дождиков, еще раз приехать в Смольный. Если можно, сразу приезжайте. Можете?

Часа через два-три радист снова вошел в уже знакомый ему кабинет. Ленин, увидев Дождикова, устремился ему навстречу через толпу стоявших вокруг людей. Подошел, пожал руку, сказал громко, чтобы все слышали:

— Еще раз благодарю за отличную работу.— Посмотрел на Николая внимательно, прищурился и чуть тише добавил: — А это вам от меня. На

память. Вы, кажется, курите? Тогда оцените — английский «Брауэр».

В руках у Дождикова оказалась курительная трубка.

— Да, да, эта вот,— заметив мой жест, подтвердил Бекир.— Самый настоящий «Брауэр». Из вишневого корня.

К сожалению, лишь много позже понял Дождиков, сколь символичен был ленинский подарок: ведь не какой-нибудь, а о Мире декрет передал он тогда «всем, всем, всем!». Стало быть, и трубка не простая — трубка Мира! Очень жалел Николай, что разгадал тот символ с большим опозданием. Но трубку хранил долго, бережно, не решался даже курить из нее, хотя курильщиком был заядлым, да к тому же моряком. Один флотский умелец изготовил для Дождикова копию того «Брауэра», а «Брауэр» подлинный годы и годы покоился в бархатном, специально пошитом чехле, сопровождал полярника во всех походах. Однажды чуть не пошел ко дну, когда старая посудина под названием «Двина» штормовой ночью села килем на мель в районе Шпицбергена. После этого случая Дождиков решил сделать побольше фотографий «Брауэра» — для корабельного музея, для дружков и вообще про всякий случай.

Несколько из этих снимков и было преподнесено Бекиру Николаем Дождиковым во время их встречи в Ленинграде. Ну, а «первого радиста революции» Эрвин многократно сфотографировал сам — и анфас, и в профиль.

Мы с моим гостем принялись снова рассматривать Дождикова, пристально вглядываясь в черты человека с белой морской пеной на усах, с белыми кристаллами соли в бровях и ресницах.

— Если нравится, могу подарить,— угадав мое желание, сказал Эрвин.

— Не жалко?— спросил я.

Эрвин рассмеялся:

— Жалко, конечно, но вы ведь все равно попросите?

— Попрошу,— подтвердил я.— Считайте, что уже попросил.

— Ну вот видите. Я есть психолог!— воскликнул Эрвин.

В эту минуту в коридоре послышался шум голосов, в дверь постучали, и комната сразу наполнилась пионерами. Они пришли с чисто немецкой пунктуальностью — ровно в двадцать ноль-ноль, как было условлено, и, как предсказал Эрвин,— с цветами.

Поблагодарив ребят за внимание и точность, я спросил их, не откажутся ли они отведать с нами русского чая. Они согласились без всяких уговоров. Тем более что мои друзья оказались и друзьями Эрвина — он не так давно выступал в их школе, обещал в скором времени прийти еще, и его уже ждут, так как не все смогли принять участие в прошлой встрече.

— Все свои люди, выходит!— обрадовался я и принялся накрывать на стол.

— Я, я, я!— поддержал меня кто-то из ребят.— Все свои.

— Ну, а если свои, помогайте,— попросил я,— времени у нас мало. Кто умеет хозяйничать?

Помощников нашлось сколько угодно. Кто бросился разогревать успевший остыть самовар, кто вытаскивал из шкафа и перетирал и без того сверкавшие чистотой блюдца и чашки, кто растягивал за углы собравшуюся гармошкой скатерть. Я походным ножом вспарывал коробку с сувенирным набором конфет.

— «Мишка на Севере»! — сразу определил один из гостей.— Бэр им Норден! Зер гут, зер шён!

Эрвин принялся отыскивать куда-то вдруг подевавшийся целлофановый пакет для фотографий. А фотографии тем временем ходили из рук в руки. И чуть ли не каждый, у кого они оказывались, восклицал:

— Геноссе Дождиков!

— Я, я! Николай Дождиков. Русский радист, моряк!

— Трубка геноссе Дождикова!..

Хорошо было у меня на душе в те минуты. Думаю, и у Эрвина.

Чаепитие получилось, к сожалению, недолгим. Через каких-нибудь четверть часа мы должны были подняться из-за стола и тронуться в путь.

По крыше и бортам микроавтобуса тихо зашелестели широко распростершие свои мягкие весенние ветви деревья, такие похожие на наши, московские!

Мне бы всю дорогу глядеть и глядеть в окно — на полыхавшие неоном улицы вечернего Берлина, которого не видел со времен войны и неизвестно, когда увижу еще. Я же не сводил глаз с Эрвина. Особенно когда заметил — узел морщин на лбу его ослаб, развязался, словно сроду и не завязывался...





ПЛУГ И САБЛЯ

В. А. Федотову

Когда-то Бутырский хутор был далеко за чертой Москвы. Тронутые ржой рельсы Савеловской железной дороги тихо проползали мимо него к городу по пустырям, заросшим лопухами, чертополохом и цикорием, забрызганным мазутом и

нефтью. Рядом с хутором было кладбище паровозов — истерзанное гражданской войной железо, приводившее в уныние меня и моих сверстников мальчишек, любивших забираться в уцелевшие кое-где будки машинистов. Даже самые несмышленые из нас понимали: когда-то это железо мчалось, гудело, изрыгало дым и пламя. Теперь только ветер зловеще завывал в котлах и трубах, изрешеченных пулями и осколками. Некоторые паровозы были до того изуродованы, что казались вывернутыми наизнанку. До сих пор звучит у меня в ушах скрежет бесформенных листов металла, сдираемого ветром с перебитых хребтов локомотивов.

Таково одно из наиболее острых моих впечатлений той поры. Сказал как-то об этом своему соседу по даче Зеленяеву. Сказал, не помню в связи с чем,— какая-то железяка в хозяйстве понадобилась, что ли. Услышав про хутор, про кладбище паровозов, Зеленяев оторвался от грядки, которую в тот момент перекапывал.

— Так мы с тобой, выходит, соседи не только по даче, но и по Бутырскому хутору! Я и по сей день хуторской, а ты?

Я ответил, что жил там, но очень давно, совсем еще пацаном.

— Но паровозы уже тянули к себе?— не то спросил, не то сам себе ответил Зеленяев.

— И тянули, и жуть наводили,— сознался я.— Уж больно страшны были.

— Что верно, то верно, страшны. И кругом, куда ни погляди, разруха, запустенье...— Зеленяев задумался, постучал по штакетнику лопаткой, зажатой в крепкой загорелой руке.— Что верно, то верно,— повторил,— дрянь дела были. Дрянней

некуда. Но кое-где уже копошилась и новая жизнь, я постарше и все помню ясно.

Зеленяев вонзил лопатку в землю, провел рукавом по вспотевшему лбу.

— Никогда не забуду мастеров с машиноиспытательной станции, ютившейся недалеко от того кладбища. Человек пять их было, в общем целом, не больше. Мороковали над техникой для села. Ты про сноповязалку Маккормика ведаешь что-нибудь?

— Заграничная?— спросил я.

— Она самая. Чудом техники считалась в те дни. Так вот это чудо наши улучшить удумали. День и ночь колдовали. Ни инструмента путного под рукой, ни материала. С разбитых паровозов кое-чего откручивали. Толково?

Я согласился с Зеленяевым. Он продолжал убежденно:

— Толково! Разумно с кладбищем тем распорядились. Очень даже разумно.

Я от других соседей слышал про Зеленяева разное. Беспокойный, дескать, человек, увлеченный, чуть ли не романтик. И до всего-то ему есть дело, до всего буквально. Я иные из этих характеристик пропускал мимо внимания. Какой, считал, он, скажем, романтик? По самые уши в грядки свои зарылся. С ним и словом-то не перемолвишься. До романтики ли ему? Всю весну, все лето, всю осень в земле. Спины не разгибает. И даже зимой небось только одним садом-огородом занят.

В тот октябрьский день взглянул на Зеленяева совсем по-иному. Что-то неожиданное открылось в соседе, когда он, перешагнув через разделявший нас штакетник, вдруг разговорился. Про гражданскую. Про революцию. Про Отечественную. Про историю и свое к ней отношение.

Черты Зеленяева помолодели, глаза из голубых стали синими, такими синими, каких я еще никогда не встречал. И паровозного кладбища — как не бывало! Оказалось, что даже само слово «кладбище» в этом случае соседу моему не по нраву.

— Какое, к дьяволу, кладбище? Старые, побывавшие в переделках паровики — да! Но хоронить их нельзя было — все равно что живого человека в гроб заколачивать, запомни. У тех паровиков нужных деталей на всю Россию можно было набрать. А то и на две.

— Двух Россий быть не может,— полушутя-полусерьезно заметил я.

Зеленяев согласился:

— Точно! Россия на свете одна.

Подумав немного, продолжил:

— И по смекалке одна, и по беспечности нашей извечной. Никакой державе не сравниться с ней ни в том, ни в другом.

Я попробовал было что-то возразить, но был решительно остановлен.

— Не спорь, мне лучше знать. Факты — упрямая штука.

Я и не спорил, тем более что дальше сосед стал развивать свою мысль в более подходящем для меня направлении:

— Сноповязалка Маккормика — машина, конечно, хорошая, но только русские руки могли ее до ума довести.

— Могли или довели?— спросил я.

Зеленяев от прямого ответа уклонился. Поднял упавшую с дерева ветку, стал черенком ее рисовать под ногами замысловатые линии, приговаривая:

— У американца было так, а нам надо было так. У нас же другие совсем условия, климат другой, почва иная, все не такое, как там...

Черенок ветки продолжал просекать землю тропинки, на которой мы стояли. Перед моими глазами постепенно возникала угластая, не совсем понятная, честно сказать, картина.

Перехватив мой озадаченный взгляд, Зеленяев съязвил:

— А еще владелец участка! Дальше клубники дело у тебя никуда не пойдет, учти.

Я сказал, что пшеницу сеять не собираюсь. Зеленяев воскликнул:

— Человек на землю зачем пришел? Клубнику выращивать?

— И клубнику тоже,— возразил я.

— Правильно. И клубнику. Но на Руси самый первый овощ все же не клубника, хоть я ее уважаю. А тогда, в первые годы Советской власти, нам вообще не до клубник было.

С зтим я, естественно, спорить не стал, почувствовал, Зеленяев переполнен воспоминаниями, которые ищут выхода, и главная моя задача была в тот момент помолчать, послушать, и я примолк.

Зеленяев стал вести рассказ дальше. Про Маккормика (сноповязалку его, оказывается, до ума все-таки довели), про другие машины всякие-разные, про умельцев с испытательной станции — кого из них как звали, кто чем отличился конкретно. Больше всего, скажу откровенно, трогала меня в Зеленяеве зта обстоятельность. Уже через какие-нибудь полчаса нашего разговора вся тропинка из конца в конец была исчерчена чертежами — один другого сложней и замысловатей. А черенок ветки, зажатой в загорелой руке, все вспахивал и вспахивал мокрую осеннюю землю. Зеленяев увлекался все больше. Единственное, что его малость расхолаживало, так зто моя почти полная некомпетент-

ность в сельхозтехнике. Некомпетентность эту я старался, понятно, хоть как-то скрывать, чтоб не обидеть собеседника, он, конечно, скоро это усек, начал слегка подшучивать:

— Пословицу знаешь — «один с сошкой, семеро с ложкой»?

Я ответил, что знаю.

— Молодец. А между сошкой и сошником разница есть?

— Небольшая, по-моему. Точней никакой, собственно, разницы. Одно и то же. Почти. Правильно?

— Не различаешь, короче говоря,— опять съязвил Зеленяев.— А вот Ильич, между прочим, различал, хотя и не его была специальность.

— Ильич?— с удивлением спросил я.

Губы Зеленяева шевельнула едва заметная улыбка.

— Ильич. Мог бы тебе и об этом кой-чего сообщить. Но в другой раз как-нибудь, при случае.

— Чудной, однако, ты человек!— я пожал плечами. Давай, мол, сейчас выкладывай, Зеленяев, коли уж разговорились. «Другой случай» — то ли будет он, то ли не будет.

— Уж больно ты мрачен,— упрекнул меня Зеленяев.

Я сказал, что до будущей весны не появлюсь тут, а в Москве у каждого свои дела, свои заботы, свой «сад», свой «огород».

Зеленяев ухмыльнулся:

— Что верно, то верно. Свой сад, свой огород, свои заботы и хлопоты. Стало быть, сейчас готов слушать?

— Именно сейчас,— подтвердил я.

— Так и быть, по-соседски,— откашляв-

шись, сказал он.— Слушай, крути на ус. К Бутырскому нашему хутору прямое отношение имеет.

И Зеленяев рассказал мне историю, о которой я раньше ничего не ведал, хотя где-то в душе считал и считаю себя тоже отчасти «хуторским».

В 1921-м дело происходило. На четвертом году Советской власти.

— Всего на четвертом, заметь,— акцентировал мое внимание на этом обстоятельстве Зеленяев.— Таким же вот дождливым октябрем, как нонешний. Прошел по хутору слух, будто со дня на день туда должен Ленин приехать.

— Ленин? На Бутырский хутор?— воскликнул я.— Быть того не может! Зачем?

Зеленяев ответил убежденно:

— Может. Очень даже может, в общем целом. И не только может, но и было в действительности. Сам не являюсь тому свидетелем, но один старик все видел, все слышал. От него знаю. По заданию Ильича на Брянском заводе был построен первый в России электрический плуг. Его привезли на Бутырский хутор, чтоб испытать в присутствии Ленина. Хитрая была машина, умная, но капризная. Что-то попервоначалу не клеилось. Механики, инженеры с ног сбились. К нужному сроку, однако, управились, отладили многокорпусную балансирную конструкцию...

— Многокорпусную? Балансирную?— переспросил я.

— Темный ты человек, сосед, дремучий, в общем целом. Тебя просвещать и просвещать по всем пунктам. Ты про саблю Наполеона, скажем, слыхал что-нибудь?— ни с того ни с сего задал мне странный вопрос Зеленяев.

— Про саблю Наполеона? Да какое мне дело

до нее? Заодно и до самого Наполеона? Не слишком ли далекая древность? — воскликнул я.

— Не слишком, — ответил сосед. — Я ко всему, что происходит и происходило на белом свете, приглядываюсь, присматриваюсь. Вырезки из печати по многим темам имею. Недавно вот выстриг из какой-то газетенки сообщение про то, что в одном нашем музее хранится сабля, принадлежавшая сумасброду, намеревавшемуся завоевать Россию. Мог бы показать тебе, но ты, смотрю, мало чем интересуешься. До лампы все тебе? Да?

Я спросил у Зеленяева, в чем суть заметки.

— Суть, суть... — с досадой пробурчал он. — До чего ж, елки зеленые, дремучи мы и не любопытны! А ну, заходь в хату. Заходь, заходь!

Я, подчиняясь воле хозяина, вошел и сразу же очутился в тесном лабиринте самодельных книжных полок. С одной из них Зеленяев решительным жестом снял синюю папку, извлек из нее газетную вырезку и, надев очки, воскликнул:

— Ты только послушай! «В ссылку на остров Эльба Наполеона сопровождал генерал-адъютант Александра I граф Шувалов. Он считал для себя делом чести доставить французского императора на место ссылки живым и невредимым. Узнав, что на Наполеона по пути готовится покушение, Шувалов предложил ему свою шинель и свой головной убор. В знак благодарности Наполеон подарил Шувалову саблю...» Читать дальше? — глянув на меня поверх очков, спросил сосед.

Я попросил дочитать до конца, тем более что у меня очков с собой не было.

— Тогда еще немного терпения, — сказал Зеленяев и продолжал: — «В России граф передал саблю племяннице — графине Воронцовой-Дашковой, которая со временем устроила в своем имении, в

нынешней Кировоградской области, музей, посвященный войне 1812 года. Прошли десятилетия. В России свершилась революция, началась гражданская война. У красногвардейцев не хватало оружия. Тогда и решили воспользоваться запасами музея Воронцовой-Дашковой. Сабля Наполеона оказалась в руках Петра Алексеева, сражавшегося в составе Первой Конной. В одном из боев с врангелевцами Алексеев был тяжело ранен. Демобилизованный, проезжая на Дальний Восток через Москву, он сдал саблю, как реликвию, в музей»...

Узкая газетная вырезка возвратилась на свое место в синюю папку. Зеленяев, завязывая шелковые тесемочки, спросил:

— Ну, как? Понял, что к чему?

— Понял. Случай действительно довольно занятный.

— Ни черта ты не понял, сосед. Не в «занятности» дело, а в том, что какую-то паршивую саблю какого-то паразита сохранить сумели и даже ореолом овеяли, а плуг, построенный по заданию Ленина и при нем испытанный, не сберегли. Нормально ли это?

Я сказал, что ничего не слышал конкретного ни про плуг, ни про то, как его испытывали.

— О чем я и говорю! — воскликнул Зеленяев. — Ни про первый русский электроплуг, ни про то, как его строили и испытывали. От самого плуга того следов никаких не осталось. Поразительное дело! В моей башке просто не укладывается. А в твоей?

Зеленяев, возбужденный, несколько минут молча ходил из угла в угол комнаты, поскрипывая половицами. Молчал и я, боясь задать какой-нибудь вопрос невпопад. Сосед поглядывал на меня поверх очков изучающе. Наконец сказал:

— Будь ты чуток любознательней, мог бы тебе

и еще кой-что выдать. Про то, например, как прошли испытания плуга. И про многое другое. Но ты торопишься, да? Говорят, съезжать с дачи собрался?

— Собрался,— ответил я,— но время пока есть, и про испытания послушал бы с удовольствием. И прямо сейчас, если можно. Можно или нет?

— Все в наших руках, в общем целом.

С этими словами Зеленяев остановился у той же самой полки, снова стал развязывать тесемочки уже другой папки — ярко-красной. Развязывая, приговаривал:

— Нормально прошли испытания. Люди всю душу в тот плуг вложили, ночей не спали. Задание Ильича — шуточное ли дело! Нервничали, конечно. Рвался металлический трос. Его связывали, подправленная рулевым машина продолжала бороздить землю восемью лемехами.

— Восемью?— удивился я.

— Сказал же тебе, плуг был многокорпусным, о шестнадцати лемехах. Восемь на одной половине, значит, восемь на другой. Вот глянь чертеж, без него не понять тебе.

Я взял в руки протянутый мне лист ватмана. Зеленяев стал водить по нему пальцем.

— Вот общий вид конструкции. Вот штурвал управления. Вот штурвал глубины. Вот трос. Электролебедками плуг тащили с одного края поля до другого — за машиной оставалось восемь борозд, пропаханных первыми восемью лемехами. Потом конструкция поворачивалась на балансирной оси. Вот она, в самом центре эта ось, смотри. И в землю вонзались другие восемь лемехов — возвратного движения. Плуг ходил по полю, как челнок, понятно?

— Теперь вроде понятно,— не особо твердо ответил я.

— Я сам, честно сказать, не сразу скумекал, что к чему. По отрывочным кое-где найденным данным сводил концы с концами.

Я еще раз внимательно вгляделся в чертеж, похвалил его. Зеленяеву это пришлось по душе. Довольный, он продолжал, я слушал.

Перед моим мысленным взором постепенно вырисовывалась довольно четкая картина.

...Ранним октябрьским утром машина Владимира Ильича появилась со стороны Дмитровского тракта, быстро приблизилась к полю, где шли испытания. Вместе с Лениным к людям, склонившимся над первыми бороздами, пропаханными в земле Бутырского хутора, подошли Калинин, Надежда Константиновна и сестра Ильича — Мария Ильинична. Работа на несколько минут приостановилась. Ленин представил испытателям своих спутников:

— Знакомьтесь, главные мои консультанты и советчики по многим вопросам. А товарищ Калинин в данном случае — главный из главных. Что скажете, Михаил Иванович? Ваше крестьянское слово первое.

— Рабоче-крестьянское,— спрятав улыбку в усах, уточнил Калинин.

— Прекрасная поправка! — воскликнул Ильич.— Итак, что скажете, дорогой Михаил Иванович?

Калинин нагнулся, поднял горсть вывернутой плугом земли, взвесил ее на ладони, процедил через пальцы.

Ленин внимательно смотрел на Калинина, тот, понимая, что от его ответа зависит многое, не спешил с выводом. Снова и снова нагибался к сырой

земле, подносил ее к самым глазам, казалось изучая каждую песчинку. Потом отвел Ленина чуть в сторону. Они несколько минут разговаривали один на один, наконец одобрительно закивали головами.

— Хорошая, стало быть, пахота, Владимир Ильич?— не вытерпев, громко спросил кто-то из испытателей.

— Хорошая,— ответил Ленин,— придраться не к чему. Так Михаил Иванович считает, от имени крестьян говорит, и я с ним согласен. Теперь от рабочего класса пусть скажет.

Калинин и Ленин вплотную подошли в электроплугу, застывшему в той позиции, в какой застал его приезд гостей.

Михаил Иванович попросил, чтобы плуг поработал еще немного. Вновь загудели лебедки, натужно заскрипели тросы, готовые вот-вот оборваться. Но не оборвались, словно понимали ответственность момента. Через несколько минут по сигналу Ленина пахота была приостановлена. Приехавшие принялись рассматривать сложную конструкцию. Особенно внимательным был Калинин.

— Вы уж извините меня,— говорил он,— русский человек любит все рукой потрогать.

Он буквально обшарил все узлы машины. Ленин, дождавшись конца осмотра, сказал:

— Итак, еще раз ваше слово, Михаил Иванович.

Калинин и в этом случае с ответом не торопился. Долго оглаживал детали машины, заглядывал под поднятую на сорок пять градусов ее половину — там можно было хорошо рассмотреть сверкавшие острые сошники. И опять все, кто стоял вокруг, почувствовали, что и тут претензий вроде бы не предвидится. Так и вышло. Ленин с Калининым тихо посовещались между собой минуту-другую,

потом Владимир Ильич, обращаясь к собравшимся, подвел результаты того совещания:

— И со стороны рабочего класса одобряется! Конечно, это только начало, но начало обнадеживающее. Первый опыт удался, однако отнесемся к нему именно как к самому первому опыту. О дальнейшем подумаем. Вполне можно допустить, что электропахота будет особенно эффективной на больших просторах России, а не на таком крохотном клочке земли. Тут и развернуться-то трудно: только успевай менять позицию машины. Вы согласны с нами?

— Согласны, Владимир Ильич,— негромко, но внятно сказал кто-то из испытателей.— Нам ваше одобрение нужно было. Мы его получили, это многого стоит.

Ленин удовлетворенно зачерпнул пригоршню земли и размашисто швырнул ее перед собой, как сеятель швыряет зерна.

Перед тем как покинуть поле, где проводились испытания, Владимир Ильич крепко пожал руку каждому рабочему, каждому инженеру, каждого ободрил:

— Все хорошо будет, уверяю вас!..

— Похоже на правду?— неожиданно прервал свой рассказ Зеленяев и поглядел на меня внимательно, будто я мог усомниться хоть в одном его слове.

— То, что похоже на правду, чаще всего и есть сама правда,— ответил я.— Такова моя точка зрения.

— Лично я уверен,— сказал Зеленяев,— что именно так все и было и иначе быть не могло, в общем целом.

На этом мы расстались. Я всю ночь под шум осеннего дождя думал о нашем разговоре. На сле-

дующий день мне предстояло закончить дачный сезон и отправиться в город на полуторке, которую обещали прислать с работы. Перед отъездом, когда прибыла машина, пошел попрощаться с соседом. Дело было под самый вечер, смеркаться начало. В доме Зеленяева не оказалось. Не нашел я его и в огороде. Кто-то из проходивших мимо, узнав, что я разыскиваю «романтика», посоветовал мне заглянуть в сарай за домом:

— Он любит там копошиться еще больше, чем в грядках.

Из сарая до меня донеслись какие-то звуки. Обе половинки железных ворот были притворены, но не очень плотно — из их узкого створа вырывался наружу размытый серым туманом неяркий свет.

— Можно?— робко спросил я, приоткрывая одну из половинок ворот.

Зеленяев смутился, но только на одно мгновение:

— А, это ты!

— Попрощаться зашел, в Москву уезжаю. Всю ночь дождь лупил пополам со снегом. Заоктябрило как следует. Может, сообща двинемся? Место в машине найдется.

— Заходь, поговорим,— услышал я глухой, простуженный голос соседа.— У меня еще дел тут невпроворот.

Я вошел, но тут же дорогу мне преградило какое-то сооружение, немного похожее на комбайн, но в уменьшенном виде.

— Заходь, заходь смелей, только не зашибись, не поранься. Темный ты человек, городской,— повторил Зеленяев сказанную вчера фразу.

С этими словами сосед возник передо мной. Вид у него был таинственный. В его руках на металлической дужке раскачивался старенький ке-

росиновый фонарь «летучая мышь». Выкручивая фитиль до максимума, Зеленяев восклицал:

— Узнаешь? Или нет? Вот штурвал управления. Вот штурвал глубины. Вот балансирная ось. А вот тебе и лемеха — один, второй, третий...

Я не верил своим глазам. Сосед спокойно, обстоятельно продолжал растолковывать:

— В натуральную величину стряпаю. Будь моя воля, я бы штучку эту для всеобщего обозрения выставил. На Бутырском хуторе, на той самой земле! Модель, но более менее точная получается. А лемеха острей любой сабли, даже той, про которую в газетенке напечатано. И сталь, доложу тебе, что надо! Не отличишь от той, Бонапартовой. Сам ковал, сам калил, сам затачивал. Скажи там в Москве кому следует. Пусть приедут, посмотрят.

Помолчал и добавил:

— Недельки через полторы, в общем целом.





ВКУС АРБУЗА

Дружили мы с Одинцовым, моим соседом по дому, давно, с конца войны, но знал я о нем в общем-то мало. Молчалив был старик, нелюдим. За шахматами, в которые мы хоть и редко, но игрывали, по крупинке приходилось выуживать из солда-

та его, как он выражался, «автогеографию». Ну, воевал, ну, ранен был. А кто с фронта без чугуна меж ребер пришел? Исколесил в кирзовых сапогах полстраны, потом пол-Европы. Однополчан порастерял всех, до единого. Особо много их полегло под Харьковом, в Зэлэном Гаю, под Мерефой. И еще под Прагой. Главное боевое крещенье получил Одинцов на Украине, большая часть войны с теми местами у него связана. Оттуда и словечки принес украинские. Не в «зеленом» скажет, а в «зэлэном», не в «гае», а в «гаю». Протяжно словечки те выговаривал, будто песню спивал. Задумчиво-грустную. Вскоре после войны — обратно на «шарик». Куда же еще? Подчеркивал это удовлетворенно, как космонавт, выполнивший задание и благополучно возвратившийся домой, на родную Землю. Московский шарикоподшипниковый завод был и домом ему, и как бы целым шаром земным.

Жил Николай Васильевич одиноко, замкнуто. На здоровье никогда не жаловался, врачей избегал. Те сами находили его и каждую весну все же упекали в госпиталь, на профилактику. Больницу он именно так и называл — госпиталь — по старой привычке.

В прошлом году упекли даже дважды — сперва в самом начале весны, потом ни с того ни с сего еще и глубокой осенью. Я в то время в командировке был, узнал о случившемся, приехав в Москву, и в тот же день, под вечер, отправился навестить Николая Васильевича. Прихватил с собой плоскую бутылочку темно-коричневого, почти черного горноалтайского бальзама, настоянного на десятках чудодейственных трав, каждая из которых, как объяснили мне друзья-алтайцы, способна была поднять человека на ноги при любой хворобе.

С трудом напялив на себя жесткий, как картон,

халат и перешагнув порог указанной мне палаты, я сначала подумал, что дела обстоят не так плохо, как рассказали соседи. Большая, коек на двенадцать, комната остановила острым запахом лекарств. Подумалось: не станут тяжелобольного содержать в таких условиях. В этот миг кто-то из дальнего угла окликнул меня с напускной бодростью:

— Ну, давай, протискивайся, коль уж прорваться тебе удалось. А то часики наши пущены, топают...

Меня при словах этих ожгла уже совсем другая мысль, невеселая. Слова-то, собственно, были обыкновенными, время посещения, мол, давно кончилось, но насторожил этот голос — слабый, чужой. Интонация, правда, осталась прежней, не изменилась, судя по всему, и манера старика немного подшучивать над собой и над другими.

Я стал пробираться между коек, вглядываясь в повернутые в мою сторону серо-желтые, изможденные лица. Самым измученным показалось лицо Николая Васильевича. Я едва узнал его. Он понял это, опять пошутил в своем обычном духе:

— Богатым буду.

Он даже попробовал улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Туго натянутая на обострившихся скулах кожа едва шевельнулась. Очевидно, не такой, как всегда, была и моя улыбка. Это не прошло мимо внимания Одинцова:

— А чего тебя утешать?— возразил я.— Просто соскучился, вот и заехал прямо почти с корабля.

— Ну, садись, коли так, гостем будешь. А у меня тут видишь какой корабль. Да ну их к лешему, эти болячки!— сам себя одернул Одинцов.— Как съездилось-то? Выкладывай. Открыточку твою

принесли уже сюда. Прочел, вспомнил старый анекдот про самую короткую телеграмму. От тебя же, кажись, и слышал: «Подробности письмом. Вася». От тебя?

— От меня. Но сегодня наговоримся вдоволь,— успокоил я Николая Васильевича.— Меня с ходу в новую командировку налаживают. Так что я медицину вашу уклянчил, получил разрешение. Посидите, говорят, если так.

Одинцов сделал еще одну попытку улыбнуться. Я отвел глаза. Мне стало почему-то стыдно за свое здоровье, за то, что полный энергии сижу возле немощного человека и бессилен хоть чем-то помочь. Одинцов понял мое состояние.

— Не убивайся. Живы будем — не помрем. Я давеча сон один видел, к добру, думаю. Ты в сны веришь?

— Совсем не вижу снов, Николай Васильевич, с родедормом засыпаю. Я хоть и помладше, но все равно — годы...

— Какой ты солдат после этого? — рассердился Одинцов.— Мне один старый доктор знаешь чего сказанул?

— Про родедорм?

— Про годы. Не в них дело, а в нас. Шестьдесят годков, к примеру, самый распрекрасный возраст. Лучше шести десятков ни черта, говорит, не придумаешь. Самый цвет! Но понимать мы про то начинаем, когда нам аж под-за семьдесят. Понял?

Я рассмеялся. На этот раз, кажется, более естественно. Во всяком случае, Одинцов остался мною доволен и с видом заговорщика сказал:

— Кавуны приснились.

— Кавуны?

Мне известна была манера Одинцова загадки загадывать. Начнет, бывало, что-нибудь говорить

о себе, о молодых годах своих,— например, на полслове сам себя остановит. Так и сегодня будет, подумал я, а он повторил:

— Кавуны. Полосатые такие, здоровущие, каждый обхвата в два.— Одинцов выпростал из-под одеяла руки — тоже серо-желтые, с истонченными пальцами.— Нет-нет да и приснятся.

— Чудные бывают сны! — удивился я.

— Всякие,— ответил Одинцов,— но все из жизни, заметь, все из жизни. Так и давешний.

Одинцов оторвал голову от подушки, обшарил глазами все уголки палаты, велел мне подсесть поближе.

Я послушно выполнил просьбу.

— Не дает мне покоя история одна. Про кавуны и чернявую. Все, как было, тебе доложу, хотя ничего и не было. Раскручу, так и быть, всю катушку — такое настроенье нынче.

Я подумал — очередная загадка. Кавуны, чернявая, быль и небыль. Сейчас слова два-три еще молвит, и точка на том, как всегда. Но точки Одинцов на сей раз не спешил ставить. По словцу, по другому стал раскрываться передо мной заповедный уголок солдатской души.

— Так вот, чернявая, значит. Вроде дежурной сестрички. Обратил внимание?

Я ответил, что симпатичная черноволосая девушка проводила меня сюда, наказала, чтоб не волновал больного.

Одинцов встрепенулся:

— От той будет копия!

И без того тихий наш разговор перешел с этой минуты на шепот, еле слышный нам самим.

Вечер давно сменился ночью. Все население палаты спало. В двери время от времени стала появляться дежурная. Тогда мы вообще умолкли.

Молчала и она. Немного приоткроет дверь, постоит и снова исчезнет. Разглядеть ее было трудно — в палате тлел ночничок, в коридоре тоже была полутьма. Но белый халат был все равно белым, черная коса — черной.

Постепенно странное завладело мной ощущение. Будто на пороге не дежурная сестра — сама наша молодость, чуть подсвеченная ночным огоньком, возникает из далекого далека. Постоит, остановит на каждом из нас свой короткий пристальный взгляд. И снова уйдет, скроется за тяжелой, массивной дверью...

Такие же чувства испытывал, по-моему, и Одинцов. Конечно же, он, видимо, думал о том же самом и то же самое. Совсем не случайно он тихо вздыхал, когда бронзовая скобочка ручки на белой двери возвращалась в исходное положение.

После одного из появлений сестры Николай Васильевич шепнул:

— Аллочка! Всей палаты нашей любовь. И моя тоже. Каждому слово молвит, каждому подсобит. Ко мне тоже нет-нет да и подсядет. Не часто, правда, видно сильно больным у нее не значусь. И то слава богу. Да и по правде сказать, велик у нее совнархоз. А я очей от нее отвести не могу.

Я посмотрел на Одинцова, видимо, как-то не так.

Он предупредил вопрос, который я готов был задать.

— Не подумай чего-нибудь! Просто так — информация к размышлению...

— Не часто, но редко,— попробовал я помочь Одинцову сформулировать мучившую его мысль.

— Оно, оно, как говорят чехи. Не редко, но и не часто. Понял больше половины?

— Половину понял,— сказал я.

— Вторую тоже поймешь.

Одинцов не спеша, степенно, хотя и не без волнения продолжал «раскручивать катушку».

В одном из боев где-то между Зеленым Гаем и Мерефой Одинцов, истекавший кровью, остался на поле боя один. Он лежал ничком на горячей, как сковородка, земле. Дивизия дралась уж где-то там, впереди, звуки выстрелов становились все глуше, все слабее, так во всяком случае казалось терявшему сознание солдату. Как потом выяснилось, так оно и было в действительности. Дивизия перешла от обороны к наступлению неожиданно, стремительно. Про Одинцова и ему подобных подумать ни у кого не было времени.

Сколько часов пролежал раненый под палящим солнцем? — этого он не мог потом вспомнить, как ни старался. Помнит только, что почувствовал вдруг, как щека вместе с кровью прикипела к земле и оторвать ее можно было только с кожей. Дурацкое создалось положение: если жив, то надо вставать, а встать невозможно. Кое-как все же отлепился от раскаленной глины, осмотрелся. Кругом ни души, ни деревца, ни былинки. Приподнялся на локтях и увидел, что метрах в трехстах вроде бы бахча замаячила! До неузнаваемости перемолотая, вдоль и поперек изъезженная тяжелой телегой войны, но все же бахча — кое-где полосато пестрели на ней уцелевшие ядра арбузов. Горло Одинцова перехватила жажда, которую немыслимо было стерпеть. Не рассуждая ни о чем, пополз напрямик. Долго полз: по-пластунски не получалось — почему-то не слушались ноги, работал одними локтями, посдирал их в кровь. Много раз останавливался. Потом бахча, когда до нее было со-

всем близко, вдруг исчезла. Подумал — мираж, мозга за мозгу зацепилась. Но удача, оказывается, еще не совсем позабыла солдата. Постепенно докумекал: складка местности утопила его, чтобы снова поднять на раскаленных ладонях...

Когда солнце начало клониться к горизонту, обжигающие лучи перешли от прямой наводки к навесному огню. Это было уже легче, это можно было стерпеть еще немного. К тому же Одинцов теперь лучше мог разглядеть кавуны — размозженные выстрелами, располосованные осколками. Он видел теперь даже запекшуюся кровь кавунного сока, вылущенные из мякоти зерна — крупные, черные, еще не успевшие потерять глянца...

Нежданно-негаданно где-то за собой Одинцов услышал слабый, испуганный женский возглас. Превозмогая боль, обернулся. В нескольких шагах стояла дивчина.

— Чернявая, совсем молодая, лет осьмнадцать, не больше. Как эта,— Николай Васильевич скосил глаза в сторону белой двери.

— Как же она оказалась там, в этом аду?— невольно перебил я.

— Я уж потом про то узнал. Четверо их было, таких, как она. Гнали скотину колхозную куда-то в дальнее место. И угодили в самую кутерьму, от своих, одним словом, отбилась деваха. Помоги, говорю я ей, если можешь. А она убоялась вида моего, постояла, постояла, руками лицо закрыла и дёру! Погодя все же слышу за спиной вроде бы тот же голос, только чуть посмелевший. Оборачиваюсь — она! А с ней рядом такой же, как я, бедолага. Одной рукой на дрын опирается, из-под другой плащ-палатка торчит. Разостлали они ту палатку, меня на нее пересунули, поволокли. «Куда?»— спрашиваю. «На перевязку»,— отвечают.

Тут, дескать, недалече овраг, в овраге — госпиталь. Никакого госпиталя там не было. Десятков пять раненых-перераненых и она. А над оврагом, гляжу, уж «рама» висит. Высоко, правда, но нас видит, конечно, сквозь цейсы свои распрекрасно. Нутро у меня горит все сильней, пить хочу — помираю, а воды нет. Все перекосилось перед взглядом моим. Небо и «рама» в одну сторону ушли, овраг и земля в другую...

В этом месте Одинцов вынужден был прервать свой рассказ — дверь палаты приотворилась, в матовом прямоугольнике снова возникла фигура дежурной. Ни словом опять не обмолвилась, постояла, посмотрела в наш угол, покачала головой, ушла.

— Что дальше было?— спросил я, когда звук шагов растаял в глубине коридора.

Одинцов ответил не сразу и несколько невпопад:

— Точно как та. Две капли! Только эту Аллой зовут, та Галкой была. Все остальное сходится. И лицо, и косы, и глаза. Чуть поведет ими, черными — заходится мое сердце. Смерили б мне давленье сейчас, сбежалась бы вся медицина!

— А я гипотоник, Николай Васильевич, стабильный.

— Знаю,— ответил он.— Давай как-нибудь скинемся и пополам поделим.

Помолчал, прислушался к тишине Одинцов, стал «катушку» дальше раскручивать. Так, мол, и так, кровь кругом, стон, смерть. «Рама» совсем не зря была немцем повешена. Высмотрел он овраг и раненых в нем, стали скоро мины кругом свистеть. То недолет, то перелет, то в самое яблочко.

Возле Одинцова в песок колченогий зарылся, и ему приказал сделать то же самое. Не было у

Одинцова сил выполнить тот приказ. Чернявая помогла. Он усмехнулся еще — не хорони, мол, прежде срока. Она обиделась, дурнем обозвала.

— Я и был дурнем,— откровенно сказал Одинцов.— Стопроцентным.

— Правильно!— невольно вырвалось у меня. Он подтвердил:

— Правильней некуда. И знаешь, удумала еще что? Когда немец к ночи поутих малость, за кавунами решила ползти. Тут они, говорит, почти рядом. А вас всех напоить-накормить надо. За ней колченогий с дрыном своим увязался и еще какие-то отпетые головы, человека два-три, кому стало полегче. Остальные пытались уговорить их не делать глупостей. Не послушались, выбрались на край оврага. Немец в тот миг ракету вывесил точно над нами — для острастки. Не убоялись и этого — с ракетой, дескать, даже видней.

Одинцов продолжал, я слушал, честно говоря, уже веря и не веря своим ушам. Мыслимое ли дело? Под миной, под ракетой — за кавунами? Оказалось, мыслимое — через какое-то время в овраг по зыбучему песку будто бы тяжелые ядра стали скатываться. Одни за другими. «Кавуны!» — рявкнул кто-то. С одним из арбузов чернявая скатилась к Одинцову. Пыль с кавуна обдула, на скибки порезала, ешь, мол, скорей, тобой крови много потеряно. И косит на солдата глазами, словно родственник он ей какой. Одинцов отказаться не смог — все нутро его давно выгорело. Впился в арбузную мякоть, глотал вместе с зернами, лишь утолив жажду, усовестился, спросил, почему, мол, сама не ест, только смотрит. Я успею, говорит, вот тебе еще скибочка, вот еще. Что болит, где болит?— спрашивает. Еще прикатить кавун? И, не дожидаясь ответа, снова за край оврага...

Одинцов умолк.

— Поговорили вы тогда меж собой?— спросил я после долгой паузы.

— Поговорили. Спросил, из каких краев, как звать, кем была до войны, о чем мечтает. Мечтаю, говорит, своих найти. Вот и весь разговор. Когда особо говорить-то? Чуть не целую неделю местность та полем боя была. Овраг то в тылу у наших, то в тылу у немцев оказывался, то вроде бы линией фронта становился. Раненых у нас ото дня ко дню прибывало. Как кавуны в овраг скатывались. Ни единого цельного человека! Она одна за всех была — и за санитаров, и за врачей, за кого хочешь. И хоть одну минуту, но, конечно, найдет для меня. Пошепчемся, как с тобой сейчас, погорюем. У нее вся семья потерялась в первые же месяцы. Отец, мать, трое братишек, мал мала меньше. А у вас? — спросит. И у меня,— отвечу. Вот и все разговоры. Потом и вовсе растащила нас судьба в разные стороны. Как-то под утро машина пробилась санбатовская. Стали нас в кузов затаскивать, самых тяжелых, а мы не помещаемся. Я останусь, говорю, а она — ни в коем случае! Сама помогала санитарам грузить меня. Когда наклонилась поближе, обожгла вдруг мне щеку и губы ее слеза, сладкосоленая, как сок кавуна. Да черная коса упала вот сюда,— Одинцов дотронулся до своей груди, чуть пониже плеча.— Больше мы с ней ни разу не свиделись. Такая, понимаешь, история...

В этот миг мы с Одинцовым одновременно глянули в сторону белой двери, которая вновь отворилась, на сей раз более решительно.

— Вам пора,— шепнула дежурная, обращаясь ко мне.

Мы стали прощаться.

— Перед отъездом постараюсь навестить,— пообещал я Одинцову.— Чего принести тебе?

— Ни-ни-ни! Ты что?— запротестовал он.— Вон полна тумбочка провианта всякого. Давеча чуть не всем цехом ребята притопали. Так приходи, рад буду.

Я пожал протянутую мне тонкую руку, пожелал здоровья Одинцову, он, как положено, послал меня к черту. Тихонечко так послал, еще с одним, очень слабым подобием улыбки. Была в ней затаенная боль человека, знающего про себя гораздо больше любых врачей.

В коридоре меня поджидала сестра Алла.

— Не поверили, что ухожу?— спросил я.

— Просто хочу проводить вас до выхода. Все двери давно на замке.

— Вот и говорю, не поверили,— повторил я.

— Напрасно вы так. Кое-что сказать вам хочу.

— Говорите,— я внимательно посмотрел на Аллу.

— Вы друг его. Он про вас мне рассказывал. Через войну вместе прошли?

— На разных фронтах воевали,— уточнил я,— уже в госпитале в мае сорок пятого свела нас судьба.

— Сколько же люди муки приняли! И сколько еще осталось...

— Что вы, раны все травой позарастали давно,— попробовал отшутиться я.

— Не все. И не у всех,— на последнем слове она сделала ударение.

Мы в тот миг медленно, почти на ощупь спускались по темной узкой лестнице запасного хода. Я замер на полушаге. Остановилась и Алла. Мне показалось, она собралась сказать мне что-то очень важное, но не решалась.

— Неважные у него дела, да?— спросил я.
От прямого ответа она уклонилась:

— Хороший он человек, мне жалко его. И один на всем свете. Люди-то к нему ходят, не забывают. Вчера сразу ползавода явилось. Халатов не хватило на всех. Несколько смен устроили.

— Ну вот, а вы говорите, один на всем свете,— поправил я Аллу.

— Из родных никого не было,— повторила она.— И быть не могло. Он всю жизнь свою рассказал мне за эти два месяца.

— Он так давно здесь?..— поразился я.

— Из командировок не вылезаете,— помогла мне оправдаться Алла.

Я попробовал вспомнить, когда последний раз виделись с Одинцовым, о чем говорили. Два месяца никак не получалось.

Словно угадав ход моих мыслей, Алла уточнила:

— Два. Завтра третий пойдет.— Она поднесла к самым глазам свои часы, но разглядеть ничего не могла. Я достал зажигалку, подсветил ею. Крошечные ножнички часовых стрелок на мгновение блеснули где-то в правой верхней части циферблата.

Мне стало стыдно. Обещал Алле исправиться, выкроить еще вечерок перед новой дорогой.

— Сколько он тут еще пролежит?— спросил я ее.

Ответ снова уводил далеко в сторону:

— Не забывайте его. Я таких одиноких еще не встречала.

— Что принести ему? Какие фрукты? Соки?

— Все есть у него. Про это он вам правду сказал. Когда придете? У нас со дня на день карантин. Так что проникнуть будет сложно даже к Одинцову.

Долго шел я в ту ночь по дождливой Москве. Думал о Николае Васильевиче, о его судьбе. О солдатской его молодости. Как бы трудно она ни сложилась, все равно чертовски жаль, что ушла, плотно прикрыв за собой дверь, и не воротишь. Можно только окликнуть в самый последний момент — а вдруг напоследок все-таки обернется, бросит прощальный взгляд. Обернется, чуть убавит шаг, обожжет черным или зеленым огнем и исчезнет, чтобы больше уже не являться перед тобой, разве что во сне, на одно краткое мгновение. Кстати, что такое мгновение? И может ли оно быть кратким или длинным?— спрашивал я себя на ходу. Все в мире относительно. В одной книжке про вечность прочитал как-то: «Возвышается на краю земли огромная гора из чистого алмаза. К горе раз в столетие прилетает ворон — поточить клюв. Когда вся гора сточится, для вечности пройдет только один миг». Восстановив в памяти этот образ, я невольно пошел почему-то медленнее. Заметив это, сам над собой посмеялся. Чудак-человек! Нельзя ничего ни торопить, ни тормозить в жизни. Чему быть, того не миновать, само собой в свой черед явится. А то и вовсе без всякого череда пробьется. Дрянная, конечно, философийка, но другой у меня в тот час не было. Самую обыкновенную командировку и ту пойди-ка отсрочь. Черта с два! Впрочем, насчет командировки мы еще посмотрим, поборемся. Объясню начальству, что друг в больнице, глядишь и отложат мой вылет хоть на несколько коротких дней. И опять сам себя поправил: дни не могут быть ни длинными, ни короткими. Все точно отмерены. Так же, как и ночи. Кроме тех, ясное дело, которые бесконечно тянутся. У меня сегодня была одна из таких. И Одинцов небось тоже таращил глаза в потолок, и, может быть, в позднем осеннем рассвете

виделись и ему в трещинах штукатурки линии наших фронтов, со всеми их зигзагами...

Когда долго глядишь вот так в потолок, еще и не такое пригрезится. Я бесконечно возвращался мыслью к далеким событиям и временам. К сладко-соленой слезе, сбежавшей когда-то по щеке чернявой, к бахче, изрытой снарядами, к Зеленому Гаю, в котором никогда не бывал и про который до сегодняшнего дня знал только несколько слов из печальной украинской песни с мотивом, ускользавшим куда-то из памяти. Вновь и вновь к Николаю Васильевичу, с его жизнью, прожитой достойно, никогда не жаловавшемуся на судьбу и только сегодня признавшемуся мне, что в одной анкете якобы написал про семейное свое положение: «в девках остался». И про то, как целые десятилетия после войны пытался сыскать свою Галю. Куда только не писал, не ездил, в какие только инстанции не обращался! Каких только ответов не получал! Целая папка собралась. Узнал в бесконечной переписке этой, что существует в архивах войны среди прочих и список, озаглавленный: «убитые, умершие от ран, пропавшие без вести». Не значилось Гали и в том документе...

* * *

От командировки отбиться мне не удалось. Начальство и до того придерживалось во всем порядка, а тут, аккурат, пошли всякие строгости. Все мои доводы сработали против меня — мол, скорей вылетишь, скорей возвратишься. «Да и о чем разговор? Перебьется неделю твой друг».

Я особо спорить не стал, я вообще не умею спорить с теми, кто жмет на сознательность, давит на

долг. Неделя, решил, действительно невеликий срок, а до отлета к Одинцову все же забегу. Так и сделал. Только Алла в тот день, к сожалению, не дежурила, а кроме нее пропустить меня было некому. Карантин, оказалось, уже ввели. Записку, правда, и кое-какие фруктишки взяли, но ответа ждать не позволили. Поздний час, дескать.

Командировка оказалась трудной, работы невпроворот. Но я старался изо всех сил, чтоб в самый малый срок уложить. Под палящим таджикским солнцем за неделю успел объездить ближние и дальние районы республики, побывал в десятках колхозов, провел сто совещаний, встретился со знаменитыми мастерами,— все сделал, как мне было поручено. А в последнюю ночь, перед вылетом в Москву, даже отчет успел написать, чтоб по прилете времени зря не тратить, как можно скорее попасть к Одинцову. Тревожная мысль запала мне в душу после разговора с Аллой. Запала и поторапливала.

В одном из колхозов, неподалеку от Душанбе, бригадир, назвавшийся Рахимом, степенно разгладив просеченную сединой бороду, спросил:

— Куда торопишься? Плохо тебе тут, да? Успеешь в Москву, останься, вечером приходи во мне, мы с женой рады будем.

Пришлось рассказать старику об Одинцове.

— Совсем один человек? Плохо. У меня вот сорок семь родственников в районе. Семья? Попаду к докторам — очередь в больницу будет длинней каравана. Потому и не болею. Зачем, думаю, столько людей от дела отрывать?

Сказал это Рахим одновременно и весело и грустно. Все понимал прекрасно. И про то, что семья семье рознь, и про то, что вовсе семей не бывает, и про другое многое, что усвоил за свои семь десятков.

— Сердце ему надо укреплять, вот что! — вдруг поставил свой диагноз старик.— Я на войне сапером был, не передний край это, сам понимаешь. И столько лет прошло, да? А оно напоминает. Спасаюсь знаешь чем? Курагой! Давай адрес — пришлю сколько хочешь и самую лучшую. Пусть утром большую пиалу съедает,— он свел вместе коричневые от времени и от работы ладони, показывая, каких размеров пиала требуется.— Послушай, а от чего оно все-таки останавливается?

Я сказал, что был у меня как-то разговор с одним хорошим врачом. Задал вопрос ему именно об этом. Отчего, мол? Врач, весельчак и жизнелюб, помрачнел. Вам, говорит, честно сказать? Конечно, отвечаю, честно. Так вот, ежели по чести, по совести: не знаю. Больше того, мы все, говорит, не знаем даже, отчего оно бьется, черт подери! Вам стыдно за современную науку? Мне тоже. Но вы сами просили, чтоб честно.

Рахим поглядел на меня, развел коричневые ладони в стороны, словно взвешивая на них услышанное. Вид у него был в ту минуту такой, словно знал старик больше всех врачей на свете. Он и в самом деле знал намного больше врачей.

— У каждого человека свое сердце, у каждого сердца своя причина биться и останавливаться, да? Точно! Подумай и не спорь, я старше.

— Одинцов на сердце не жалуется,— сказал я.— Он вообще никогда не жалуется ни на что. И все у него есть. Ни в чем не нуждается, всем обеспечен вот так, сам любому придет на выручку.

— Богатый человек! — воскликнул Рахим.

— Миллионер! — согласился я полусерьезно, полуиронически.

— Богатый,— уверенно повторил Рахим.— Восточная мудрость что говорит? Истинно богат

не тот, кто богат и об этом знает, а тот, кто владеет несметным богатством и о том не догадывается. Понял что-нибудь? Еще немного подумай.

Я обещал подумать; старик, как и все старики, был настойчив:

— Совсем немного. И пожалуйста, за тобой адрес, за мной курага,— решительно подвел Рахим итог нашей дискуссии.

Я, повинуясь его воле, нацарапал на клочке бумаги домашний адрес Одинцова.

На этом мы расстались. Я считал, надолго, если не навсегда. Вышло несколько по-иному.

Ранним утром следующего дня на аэродроме за десяток минут до посадки я увидел своего вчерашнего знакомого, пробивавшегося ко мне через толпу. Шагал он почему-то тяжело, грузно, как-то не по-стариковски. Когда он приблизился, я увидел: в каждой руке бригадир держал по авоське, в каждой авоське было по арбузу — и по какому! Я таких великанов еще не встречал нигде на свете.

На аэродроме было шумно, вблизи и вдали ревели десятки турбин и моторов. Нам даже поговорить не довелось толком. Я удивленно таращил глаза на арбузы, старик, навьючивая их на меня, кричал мне в самое ухо:

— Этот — для тебя, этот — для твоего Одинцова. Курагу вышлю посылкой.

Разместившись в самолете, разглядев подарки бригадира, я оценил, каким богатством располагаю: арбузы показались мне похожими на те, про которые Одинцов рассказал! А уже в Москве, по дороге из Шереметьева, мне еще поднял настроение таксист:

— С Украины кавунчики? Хороши! Только там такие водятся, я бывал в тех краях.

— Точно?— воскликнул я.— Такие именно?

Шофер не заметил, к а к переспросил я его, повторил будто само собой разумеющееся:

— Только там. Да еще, может быть, в Средней Азии.

Я попросил прибавить скорость. Дескать, в больницу спешу, к одному солдату. Водителя, несмотря на сильнейший дождь, агитировать долго не пришлось — двигатель взревел, в машине стало шумно, как на аэродроме. Мы ехали молча. Я часто оборачивался назад, где, глубоко ввалившись в сиденье, разделенные мокрым моим портфелем, поблескивали арбузы, когда дорожные фонари швыряли в стекла неоновые вспышки.

Таксист, заметив это, успокоил:

— Не волнуйтесь, не скатятся, как пассажиры сидят, плотненько!

Теперь моя дума была об одном: застать бы Аллу. Карантины небось быстро не кончаются, да еще такой глубокой осенью. А без Аллы не прорваться. Это уж точно, да и время опять, как назло, вечернее, стало быть неурочное. И все же застану. Если она через двое суток на третьи, то как раз выходит, ее смена. Я вынимал из бумажника календарик, всматривался в него, и концы с концами сходились. Ну, а с Аллой договориться можно будет. Вот этот арбуз Одинцову, скажу, вот этот — ваш, Алла. Пропустите, пожалуйста.

В расчетах своих я не ошибся — Аллина смена была. Нянечка, сердито оглядев мокрого с ног до головы неурочного посетителя, поворчав для порядка, привела мою знакомую. В тускло освещенном коридорчике я не сразу узнал ее — что-то изменилось в облике Аллы. В голосе была тревога:

— Что же вы так долго? И опять в такой дождь и в такой час!

Я объяснил, что прямо с дороги, из аэропорта, даже домой не заехал. Аллу это в удивление не привело:

— Хорошо сделали. Спрашивает по сто раз в день.

Я сразу воспрянул духом:

— Значит, пропустите? Спасибо большое! Не зря я не только на крыльях летел — на кавунах катился.

Алла бросила недоуменный взгляд на арбузы, полосато громоздившиеся в углу за моей спиной, и удивленно воскликнула:

— Разве такие бывают?! Никогда не видела ничего подобного!

— Кое-где еще встречаются. Один — Николаю Васильевичу, другой вам, Аллочка. Ну что, потащили? — Я решительно приподнял обе авоськи, сделал шаг вперед, чтобы идти вместе с ней к Одинцову.

Алла так же решительно преградила мне путь:

— Карантин уже больше недели.

— Но вы же сами сказали: хорошо, что приехал!

— Да,— подтвердила она,— хорошо. Пишите записку, давайте подарки, ждите ответ. А кавуны ваши прелесть, и главное — ко времени. Он сказал мне, что мечтает вырваться отсюда, поехать на Украину — кавунами лечиться. Заводские уж на рынок ездили, да разве в такую пору достанешь!

Я немного повеселел. Примостившись у подоконника, сочинил Одинцову послание, в котором, каюсь, немного слукавил относительно места «прописки» кавунов. Намек сделал на то, что, дескать, где еще могут расти такие красавцы, как не на украинской земле.

Алла ушла, переваливаясь под тяжестью авосек.

Ждать мне пришлось долго. Только минут через сорок возвратиласть сестра.

— Еще одно огорченье, вы уж простите меня. Заснул Николай Васильевич, я не стала его будить. Он последние сутки глаз не сомкнул, а тут вдруг вздремнулось ему. Дай, думаю, немного поспит. Так и все, кто есть в палате, мне приказали. Уж больно сладко спится ему. Правильно я поступила?

— Правильно! — ответил я. — Подожду еще, сколько скажете.

— Я думаю, вам лучше уйти, — ответила Алла. — Опять ведь ночь уже. Давайте так сделаем. Я завтра снова дежурю за подружку одну. Приходите пораньше.

— Специально отпрошусь с работы где-то сразу после обеда, можно?

— Жду вас, но только обязательно. Письмецо будет. Что-то сказать вам хочет.

— А как все же насчет встречи? Устроили бы, а?

— Я же говорю вам — карантин. Исключений почти не бывает.

Через четверть часа я снова трясся в такси. Еще через четверть — был дома. И опять, невзирая на усталость, долго не мог уснуть. Думал об Одинцове, о доброй сестре, которая при всей своей юности успела, видно, в жизни пройти через многое. Совсем не случайным было это «почти». Свидание с Одинцовым не очень твердо, но обещала. Или я не понял ее? Только записочку принесет? Что будет в той записочке? И будет ли что? Поговорить бы с Одинцовым, как в ту ночь. Душу отвести. Узнать, что хочет сказать недосказанное? Какую еще исповедь приготовил? И обязательно надо выяснить, сколько будет длиться этот карантин? Прошмыгну как-нибудь! Солдаты мы в конце концов или не сол-

даты? И не такую медицину вокруг пальца обводили! Через санбаты выходят в солдаты! — вспомнил любимую поговорку старшины своего. Верная была поговорочка, справедливая!

На следующий день я заявился в больницу даже раньше, чем предполагал. Начальство вошло в положение. Алла, вызванная мной через нянечку, встретила меня хорошо. Подошла, первая протянула руку, воскликнула:

— Кавуны ваши все вверх дном тут перевернули.

— В каком смысле? — не понял я.

— Что вчера было, что было, представить не можете! Часов в десять все началось. Вы только-только уехали, Николай Васильевич проснулся, пить запросил...

— Ну вы бы ему сразу арбуз! — перебил я Аллу.

— Я так и сделала. Кавуны вам, говорю, Николай Васильевич, с Украины.

— Так и сказали? С Украины? Я же забыл вас предупредить, Алла: именно с Украины. Именно!

— С этого-то все и началось, вы только послушайте. Он у нас ведь последнее время все больше пластом. А тут вдруг — ноги в шлепанцы! Выпутали мы с ним арбузы из авосек. Он постучал — по одному, по другому. Вот это, говорит, кавунчики! Режьте их скорей, Аллочка, пировать будем. Прямо сейчас? — спрашиваю. — Прямо сейчас, отвечает. Немедленно! Разбудил всю палату. Пока я бегала за тарелками, за ножом, один арбуз уже был кем-то разделан. Николай Васильевич, как пьяный, покачиваясь, ходил от койки к койке, угощал всех больных. Скоро уже из соседних палат слышался его голос. От всех хворей, от всех напастей, дескать, первейшее средство.

— И вас, конечно, угостил? — спросил я сестру.

— Меня почему-то в первую очередь,— чуть смутилась она.— Я отказывалась, он настаивал. Второй арбуз вообще уговаривал домой «укатить».

— И я вас о том же просил, Алла. Один ему, другой вам, семье вашей. Даже если очень большая — на всех хватит.

— Вот так!— Алла приложила ребро ладони к горлу.— Отец военный. Они с мамой на Дальнем Востоке. Мы с братишкой в Москве. Я здесь, он на «скорой» — тоже в три смены. Видимся только по праздникам. Короче, второй арбуз тоже по кругу пошел — нянечкам с врачами устроили пир. Это было утром уже. Зернышки я собрала все до единого. Поеду к своим в отпуск — посажу.

— Значит, и вам арбуз понравился?— спросил я.

— Мне больше всех!— чистосердечно призналась сестра.

— А ему?

— Говорю же — чуть не всю ночь ходил человек. Обошел все отделение, наугощал всех, потом свалился от усталости. И вот спит уже много часов и сквозь сон улыбается!— воскликнула Алла.— Вот скоро проснется — я ему первым делом о вас доложу. Подождете?

Я ответил, что буду ждать сколько потребуется, и похвалил девушку:

— Заботливый вы человек, Алла, добрый.

— Обыкновенный,— сказала она.— Другим, по-моему, тут делать нечего.

Сестра шевельнула рукавом белоснежного халата, и мы одновременно глянули на ножнички часовых стрелок.

— Скоро сменщица придет. Та построже будет. Не подумайте, что все у нас тут такие, как вы говорите, добрые.

— А как же я? Не могу ведь уйти, не повидав Одинцова. Может, как раз где-то перед сменщицей и проскочить к нему?

— Я не обещала вам этого, вы что-то путаете. Почтальоном буду работать хоть до ночи.

— Ну тогда хотя бы не торопитесь. Посидите еще со мной, расскажите, как все было. Все по порядку.

— Я все рассказала уже. Радовался, как ребенок, и даже шутил. Учил нас, как есть кавуны надо.

— Ну вот, видите, а вы говорите, все рассказали. Не все, выходит. Как же надо их есть?

— Говорит, чтобы полные уши косточек набивалось! И смеется. Что еще? Все, наверно, вспомнила. Да, вот еще что. Поспорили мы с ним. Он спросил, какого вкуса бывают арбузы, по моему мнению. Я удивилась даже, как зто, говорю, какого? Сладкого. А вот зтот особенно. Он стал меня на слове ловить. Дескать, я сама себе противоречу. Выходит, есть арбузы сладкие, есть «особенно» сладкие. Какие, спрашивает, еще?

— Что ж, он прав, наверно?— сказал я.— Разные бывают арбузы.

— Да, конечно, от спелости, от сорта зависит,— согласилась Алла.— Но про вчерашний он что-то не то сказал, засыпая. Будто бы сладко-соленый. Никак его убедить не могла, что ошибается. Сладко-соленый, и все тут! Уже седьмой сон, наверно, видел, а сам все свое: вы не распробовали, говорит, в нем два вкуса. Один сладкий. Другой соленый...

— Больше ничего не сказал?— спросил я девушку.

Она наморщила лоб, задумалась, покачала головой. Потом еще раз взглянула на часы и, решив, что Одинцов теперь уж наверняка проснулся, встала со скамейки и уже из коридора, на ходу, полу-

обернувшись, обронила слова, ею наверняка не разгаданные, а для меня и Одинцова полные особого смысла:

— Раза два или три меня почему-то не Аллой, а Галей назвал. А может, мне так послышалось.

Ждать Аллу мне пришлось не меньше часа. Чего только не передумал я за это время, чего только не перечувствовал. Уж не навредил ли чем Одинцову? Ему ведь полный покой нужен. А я больного человека волноваться заставил. Не стало бы хуже. Уж клял себя на все лады за эту затею с арзубами.

Только увидев Аллу, весело мчавшуюся ко мне с письмом по гулкому коридору, я успокоился.

Одинцов по старой армейской привычке сложил белый листок в три угла. Я сразу обратил на это внимание и обрадовался. Держится, стало быть, солдат, не сдается.

Всего несколько строк было в послании Николая Васильевича.

Перво-наперво благодарил меня друг от всего щирого сердца. Он именно так и писал — «щирого». И это было признаком тоже добрым. Одинцов, когда на душе у него светлело, любил мне уроки «мовы» давать. Многие украинские слова за давностью лет из памяти его выветрились, но иные запали в душу на всю жизнь. Прощаясь, например, он чаще всего восклицал: «До зу́стричи, до поба́ченья!» И от меня того же требовал, и всегда рад был, если я отвечал правильно, без запинки.

Дальше в письме повторялось то же или, вернее, почти то же, что Одинцов ночью Алле сказал.

Я сохранил письмо Николая Васильевича, часто теперь достаю похрустывающий треугольник из ящика стола. Аккуратно развертываю, читаю-перечитываю беглые, косые, загибающиеся на кон-

цах, но все-таки твердой рукой написанные строки:

«Лекарство могучее ты раздобыл. Кавуны самый первый сорт, первей некуда! Точка в точку, как на Украине. Привез ты их, ясное дело, не оттуда, я понял, но придумано здорово. Больше мне ничего не нужно, а сам приходи, буду ждать. Алла обещает почтальоном нашим быть до самого конца карантина. Только до конца я тут, понятно, торчать не буду (это строго между нами). Мне уже полегчало. Охота напоследок еще раз проведать Зеленый Гай. И чем скорее, тем лучше. Вот так, дорогой, такие дела. Ну бывай. До зустричи, старик, до побаченья!

Твой Н. В.»





ДЫХАНИЕ КОСТРА

I

Зимы в тех краях длинные, суровые. Когда на дворе минус двадцать, местные жители будто бы говорят:

— Потеплело.

А в основном — под сорок, под пятьдесят, в

горах иной раз даже под все шестьдесят закручивает. Из ртути дробины и пули ковать можно. Охотники, а охотник там почти каждый, именно так якобы и делают.

Обо всем этом я наслушался всяких былей и небылиц по пути из Москвы в Кызыл, на аэродромах и в самолетах, которыми добирался до Саянского хребта лайнерами, потом, после трехсуточной отсидки из-за непогоды, через Саяны зашвыривали командированный народ мелкими партиями на крохотных самолетиках, способных, в случае чего, сесть чуть ли не на вершину сосны и остаться притом невредимыми и дров в тайге не наломать.

Так или иначе, к вечеру пятого дня пути был я на месте. Не на макушку сосны сели, но в момент приземления, когда машина дробно и мягко затарахтела колесами по снежному насту, вспомнились мне слова отставшего где-то попутчика про удивительные способности предназначенных для Севера мини-самолетов. «А может, и впрямь в объятия сосны угодили и раскачиваемся на упругих ее ветвях?» — на мгновение подумалось мне, и ноздри защекотал щемящий сердце ворвавшийся снаружи запах хвои и давно обжитого дома.

Это ощущение преследовало меня до самой гостиницы, вернее, гостинички, в каждом уголке которой пахло уютом. Устроившись и завалившись спать в отведенном мне номере, я думал о том, как хорошо, что и здесь, за тридевять земель от родного очага, о тебе заботятся, даже притащили в номер пушистый шерстяной ковер, на котором рукою какой-то мастерицы-волшебницы вытканы сосны, сосны, сосны...

Проснулся я, судя по всему, через много часов — в окно моей комнаты сквозь ледяной панцирь ломилось солнце. «Ну ты даешь, старик!» —

попрекнул я сам себя. И тут же сам себя оправдал. Дорожка ведь не из легких была, все силы выпотрошила да еще и ангину подбросила — в горле у меня засела целая горсть жареных гвоздей. Впрочем, ангина ангиной, а дело делом. Упущенное надо было наверстывать, и чем скорее, тем лучше.

В вестибюле меня ждали те, к кому я приехал. Ждали, видимо, долго, но когда я стал приносить извинения, старались доказать мне, будто сами только что пришли. Вид же у них был слишком «оттаявший», раздобревший — попивали крепкий, почти черный чаек из пиал, и я с ходу был втянут в веселое это чаепитие. А когда наружная дверь на мгновение отворялась, в вестибюль вкатывался громадный клубок белого воздуха. Такой громадный и такой стылый, что невольно хотелось посторониться.

Я снова и снова вспоминал все, что слышал в дороге про здешние зимы, а хозяева как могли старались подбодрить приезжего человека:

— Вчера у нас была оттепель. Сегодня маломало подмораживает. Завтра или послезавтра опять потеплеет.

Я не знал, шутят хозяева или говорят серьезно, но были они такими приветливыми, что по крайней мере на душе у меня становилось теплей. К тому же я москвич, стало быть, человек в какой-то степени тоже северный, к холодам привычный. Из гостинички мне, однако, выходить было строжайше запрещено, пришлось все обсуждать и решать «на месте». Номер мой, в который мы все скоро поднялись, превратился в рабочий кабинет. На разные голоса читались и перечитывались стихи, стучала привезенная мной портативная машинка «Эрика», скрипели перья, шелестела бумага, раз-

горались страсти. И так с утра до вечера, а иногда еще и с вечера до утра.

На дворе между тем все крепчал мороз. Несмотря на все принятые меры по утеплению моего жилья, ледяной панцирь на окне становился все толще — через него уже с трудом пробивался солнечный свет. А потом и вовсе оконный лед сделался пепельно-серым, непроницаемым.

— Завьюжило,— сказал кто-то из хозяев.— Теперь уж точно мало-мало потеплеет.

— Завтра или послезавтра? — попробовал уточнить я.

Ирония в моем вопросе уловлена не была.

— Снег как-никак греет в горах.

Я понимал, что с приходом «оттепели» кончится мое заточение, и потому спросил как можно более оптимистично:

— Пули ковать нельзя будет?

— Наковали уже, хватит. В эту зиму план по морозам мало-мало выполнен.

Вот и пойми их, северян этих, думал я. «Мало-мало выполнен»... Что должно обозначать сие? Хорошо это или плохо? Всем нутром своим чувствовал — закаленные, ко всему привыкшие люди устали от холодов, ждут не дождутся прихода тепла, хотя бы и мимолетного.

Решил спросить об этом самого старшего — Монгуша, человека с обвисшими сизыми усами. Тот улыбнулся — раскосо, грустно.

— Мне что зима, что лето. Вечная мерзлота! — он выразительно похлопал себя по коленям.— Ты вон Эрко спроси, он моложе нас всех. Он тебе точно скажет, может даже и под рифму, с ним такое бывает — поэт!

Эрко от прямого ответа уклонился, шуткой отделался:

— Зима у нас — лучшее время года. После весны и лета. И даже, пожалуй, осени. Но я и зиму люблю!

Старику шутка понравилась. Он скосил глаза в мою сторону.

— Я ж говорил тебе! У них спрашивай. Молодежь — самый мудрый народ в горах, самый толковый.

Монгуш провел заскорузлой, неразгибающейся ладонью по сизым усам, помолчал минуту-другую и добавил:

— Самый мудрый, самый толковый. После стариков, конечно.

Посмеиваясь друг над другом, один другого вышучивая на все лады, мы тем не менее медленно, но верно делали свое дело, и оно начало постепенно продвигаться вперед. Может, потому начало, что витал над нами почти невидимый, неуловимый, но прекрасный дух жизнелюбия, умения не скиснуть перед самой сложной и срочной задачей. Мы и не скисали, несмотря на то, что не все шло поначалу гладко, и не глядя на то, что Москва уже поторапливала, не скупилась на телеграммы.

— Пусть столица не нервничает,— успокаивал меня Монгуш.— Антология нужна? Будет антология. За одну неделю? Мало-мало немножко времени, но будет и за неделю, так и передай Москве.

Снова и снова звучали стихи, разгорались споры, шелестела бумага, скрипели перья, стрекотала «Эрика», на которую кое-кто из хозяев посматривал с завистью, в том числе и самый старый.

— Я могу вам подарить, папаша, это чудо двадцатого века. Вот напечатаем все, что надо, и подарю. Хотите?

— Спасибо, не надо,— он протянул вперед со-

бранные в коричневую щепотку неразгибающиеся пальцы.— Эрко подари — он на ней полное собрание своих сочинений отстукает. Отстукаешь?

Парень смутился. Я сказал:

— Закончим труды, и машинка твоя, Эрко. Только с условием, чтоб выдал когда-нибудь все сто томов своих партийных книжек. Согласен?

— Сто, пожалуй, не осилю,— засмеялся Эрко, обрадовавшийся тому, что все оборачивалось шуткой.— Девяносто девять в самый раз будет.

Мне и в самом деле вдруг захотелось оставить Эрко на память машинку, объездившую со мною полсвета. Парень талантливый, серьезный, стихи его о Саянском перевале, о вершинах, о сходе снежных лавин поразили меня своей подлинностью — в каждой строке их так и слышался грохот весенних снегов, тронувшихся с заоблачных круч в низины.

— Непонятно одно, Эрко,— сказал я ему както, когда мы остались вдвоем,— снежный обвал — хорошо это или плохо? Ты его воспеваешь, а в моем представлении обвал — стихийное бедствие.

— В общем-то так,— согласился Эрко,— но картина какая! Вершины просыпаются ото сна, стаиовятся еще выше.

Я честно признался, что мне, горожанину, трудно такое понять, но стихи, получились, на антологию «тянут», только я бы, например, предпочел обвал наблюдать откуда-нибудь издалека.

— Со смотровой площадки?— засмеялся Эрко.

— Или по телеку,— ответил я.

— Но человек, который отснимет такую пленку, должен быть в цейтре события, согласны? В самом центре.

С этим спорить было нельзя. Я и не спорил.

Мне все больше нравились люди, с которыми меня свела судьба,— мужественные, спокойные, волевые. И уже с грустью думалось о том, что вот еще несколько дней, и нам придется расстаться.

Я уже испытывал необходимость подарить парню машинку, не знал только, как деликатнее это сделать. Северяне народ гордый, самолюбивый.

Все, впрочем, обошлось как нельзя лучше. Окончание нашей работы совпало с днем рождения Эрко — тут я уж под двойной праздник получил право сделать подарок. Мы были приглашены на торжество всей нашей бригадой, во главе с Монгушем, все эти дни лечившим и вылечившим меня от ангины.

Семья именинника оказалась небольшой — он и жена его Ольга, очаровательное зеленоглазое существо. Я повеселел сразу, как перешагнул порог этого дома. Подумалось: если замечаю, какой цвет глаз у молодой женщины, стало быть здоров, совершенно здоров! Не скрывая, чистосердечно признался в этом всем собравшимся, в первую очередь, конечно, Эрко, точнее Эрику, как называла его Оля. Гости и хозяева в ответ на мою откровенность дружно расхохотались. Громче всех новорожденный заливался. По всему было видно, как рад он, когда кто-нибудь замечает, как прелестна его жена. Она и в самом деле была красавицей, способной покорить сердце любого мужчины — стройная, женственная во всех движениях, а от глаз вообще невозможно было оторваться. Узкие, чуть лукавые, они полыхали глубоким зеленым огнем. Полыхали без всякого кокетства — просто от молодости, от самой возможности жить на свете, от счастья ждать ребенка (это не для кого уже не могло быть секретом, хотя каждая складочка широкого платья

Оли старалась пока сохранить семейную тайну). Хозяйкой Оля тоже оказалась отличной. На столе было множество диковинных, благоухающих блюд. У меня снова запершило в горле. Теперь, слава богу, не от ангины.

Пришедшие с шутками-прибаутками стали вручать имениннику подарки. За охотничий нож с него потребовали двадцать копеек. Огромные рукавицы из нерпичьего меха виновника торжества заставили тут же надеть, и парень вынужден был подчиниться. Посчитав момент самым подходящим, я решительно извлек из портфеля свой подарок.

— А эта «Эрика» специально для Эрика! Полное собрание сочинений за тобой, учти. В ста томах. Начни со стихов о вершинах, которые весной расправляют плечи.

— Вам, правда, понравилось?—смутившись, спросил счастливый именинник.

Услышав, как хвалят стихи мужа, Оля вышла из комнаты.

Ее несердитым окриком воротил Монгуш:

— Куда ж ты, хозяйка? Иди сюда и слушай! Я тоже скажу: про горы хорошо.

Оля покорно вернулась, села на свое место. Лицо ее пылало. Старик подливал масла в огонь:

— У него еще про любовь неплохо. Про зеленоглазую одну, красивую такую. Про кого бы это он мог написать, а? Он и сам ведь красив, так все у нас говорят. Ты за ним мало-мало поглядывай, женушка, в оба смотри.

— От этого Эрика среди женщин истерика — лихо срифмовал кто-то из молодых.

Долго ли, коротко ли продолжалось веселое наше пиршество, вечер пролетел, как мне кажется сейчас, слишком быстро. И дело вовсе не в солень-

ях-вареньях, которых было великое множество. В атмосфере, царившей в доме. Хотя и яства были отменными, необычайно вкусными. С одним из них вышло, правда, у меня осложнение. Сквозь дымок, густо клубившийся из трубок, в комнату вплыла вдруг торжественно несомая Олей запеченная голова молодого барашка с обуглившимися, искривленными от огня рогами. Сам вид этого блюда, рассчитанного, как я понял, на самых завзятых гурманов, привел меня в смущение. Я баранину не люблю с детства и не ем ни под каким соусом, а тут еще в таком варианте...

Не притронусь, решил я, и откровенно перевел взгляд на закуски, мною уже проверенные. Но Оля подошла сразу именно ко мне, остановилась и ждала. Сосед шепнул мне, что отказываться ни в коем случае нельзя,— гостю, приехавшему издалека, полагается съесть первый кусок, только после этого лакомство может пойти по кругу. Оля ждала, ждали все, я медлил, пытаясь взять себя в руки, не обидеть хозяйку, гордую своим кулинарным искусством. Прошла минута-другая, прежде чем я, наконец, отважился. Отрезал и положил за щеку тонкий, как лимонная долька, ломтик. Сосед подбодрил меня уже не шепотом, громко. Баранья голова поплыла дальше, я провожал ее глазами, боясь, как бы она не дошла до нашей половины стола по второму заходу.

— Правда, вкусно?— спросил сосед.— Ничего нет вкусней на свете!

Вместо ответа я жестом показал ему, чтоб поскорее плеснул мне вина из «вон той» квадратной большой, как аквариум, бутыли.

«Ну теперь тебе уже ничего не страшно в этих горах. Молодец!» — похвалил я сам себя.

Потом, после нашего торжества, я не раз вспо-

минал эту фразу. Горы есть горы. Бывают испытания, оказалось, и посложнее.

Когда пиршество подходило к концу, Эрик подсел ко мне и с заговорщическим видом сказал:

— Все уйдут, вы останетесь. Идея есть. Вот такая!— Он, наклонившись к самому моему уху, перешел на шепот:— Ангина кончилась? Совсем?

— Как не бывало!— твердо, но тоже почему-то шепотом ответил я.

— Общими силами. Утром даю телеграмму в Москву. Пусть не волнуются.

— Завтра суббота?

— Суббота, кажется.

— Не кажется — совершенно точно. А послезавтра?

— Вроде бы воскресный день, а ты как считаешь?

— Я такого же мнения. Так вот в чем идея, слушайте. Человек имеет право на отдых, согласны?

Я все еще не мог догадаться, к чему клонит Эрко, а он «клонил» к чему-то чрезвычайно заманчивому, только слишком медленно:

— Пробыли целую неделю в Туве и Тувы не видели, это порядок, да? Что увезете с собой? Сувениры? Это, как сказал бы наш мудрый Монгуш, совсем очень мало.

— Так что ж предлагается конкретно?— спросил я.

— Надо походить на лыжах в горах. Вот! Хотя бы совсем мало-мало, но походить,— Эрко еще раз ввернул словцо старика.— На размышление — ночь.

— Ночь на то, чтобы спать, особенно после того, как целую неделю вкалывали. Я сейчас тебе твердый ответ даю: согласен! А когда выходим?

— Утром. Чем раньше, тем лучше, конечно. Вы ведь умеете, как я заметил, рано вставать?

— И поздно ложиться, как ты, может быть, тоже заметил.

— Тогда по рукам! — громко воскликнул Эрко, довольный результатами наших переговоров.

— О чем это вы там? — спросил сидевший против нас Монгуш.

— О Туве, конечно,— не соврал, но и не сказал правду Эрко.

Он явно не хотел, чтобы кто-нибудь еще знал о нашем плане. Мало ли кто помешать может. Старик, например. Заявит, что ангина — штука коварная. И будет по-своему прав, разумеется. Или посчитает, что оттепель еще не наступила. И в том тоже свой резон будет. Словом, уговор наш был совершенно конфиденциальным, но нерушимым. Решено было только Олю поставить в известность, и то в самый последний момент.

II

Мы поднялись, когда было еще совсем темно. Эрко быстро подобрал мне в кладовочке обувь, лыжи и прочее снаряжение, экипировал меня так, будто мы собрались на Северный полюс. Даже рюкзак откуда-то раздобыл — в него было положено многое из того, чем лакомились во время вчерашнего пиршества.

— На всякий случай,— перехватив мой удивленный взгляд, объяснил Эрко.— Горы есть горы.

Вышедшая на поднятый нами шум Оля заспанным голосом не то повелевала, не то упрашивала:

— Обязательно термос возьмите, термос! Вот

он, с вечера еще приготовила. И дробовичок. Я почему-то так и знала, что без лыжного похода Эрик вас все равно не отпустит. Он все время в горы рвется, а тут такой случай! Но помните, день еще короткий, далеко не забирайтесь.

— К вечеру будем! — весело пообещал Эрко, и мы вышли из дома.

Светало. Точнее сказать — вот-вот должен был забрезжить рассвет: он был уже совсем рядом, от него отделяли нас только горы, вплотную подступившие к городу. Горы, в которые лежал наш путь и которые уже манили меня. Просто притягивали. Не случайно они и похожи-то были на подкову магнита — я это еще в день прилета заметил, на вираже при заходе на посадку. Сказал об этом Эрко, он засмеялся:

— Конечно, магнит. И еще какой! Только, чур, не смеяться — сам я о горах этих больше мечтаю, поверите? То техникум, то армия, то семья, то работа... Сегодня надо наверстать упущенное. Вы тоже будете рады, вот увидите.

— Я уже рад, Эрко. Красотища-то какая! А как дышится! Из-за проклятой этой ангины столько дней взаперти просидеть, а!.. Веди меня, куда хочешь!

Сделав первые глотки чуть кисловатого на вкус, бодрящего морозного воздуха, я почувствовал себя более чем выздоровевшим — никогда в жизни ничем не болевшим и по-настоящему понял, какую блестящую идею подал Эрко и как я правильно сделал, что согласился.

Оценив мой энтузиазм, Эрко решил быть откровенным:

— Раз вы не новичок в снегах, я предлагаю такой маршрут: Кызыл — Облепиховый лес — Кызыл. Согласны?

— Тут же кругом облепиха, куда ни пойди, все говорят,— заметил я.

— Правильно, облепиха кругом, почти вдоль каждой горной дороги,— подтвердил Эрко.— Но мне хочется с вами именно до того леса дойти, обязательно до того самого.

— В том лесу облепиха, очевидно, особенная?— догадался я.

— В том-то и дело!— воскликнул Эрко и решительно вонзил палки в резко скрипнувший снег, приготовившись торить лыжню.— Путь, однако, не ближний, учтите.

— Сколько кэмэ приблизительно?— все в той же полусерьезной-полувеселой интонации поинтересовался я.

— Врать не буду, не считал никогда, да и был я там давно,— сознался Эрко.— Но к вечеру вернемся, не беспокойтесь. В горах — я дома.

Я и не беспокоился. Покорно, не отставая ни на шаг, шел по лыжне, прокладываемой гигантом Эрко. Он делал свое дело мастерски, как наш командир, любивший, бывало, повторять во время лыжных походов, что строго параллельные линии тем и отличаются от всех прочих, что никогда не сходятся и не расходятся. Я шел за Эрко, с завистью приглядываясь к оставляемой им лыжне. Именно с завистью. Только очень опытный лыжник владеет таким искусством. Владел им наш командир. Владеет Эрко. Мне оставалось тянуться изо всех сил, школу свою солдатскую не посрамить. Я и не срамил, по-моему. Первых полтора или два часа, по крайней мере, пока не добрались до предгорья с густым колючим подлеском, где пришлось продираться через бесконечные кусты, каждая хворостина которых больно секла меня по рукам, так что даже сквозь меховые

варежки чувствовались эти удары. Что касается лыжни, то я ее уже не столько видел, сколько угадывал, отворачивая лицо от лезущих навстречу прутьев.

— Тут мало-мало трудней будет,— обериувшись, крикиул мне Эрко,— ио иичего, дальше лес пойдет, там просторнее стаиет.

— Облепиховый?— спросил я.

Эрко хохотнул и даже остановился.

— Устали уже, да?

Я бодро ответил, что совсем не устал, просто мие интересио, далеко ли еще до цели.

— Значит, устали,— вздохнул Эрко.— Давайте первый привал делать. Не замерзли?

— Уж что не замерз, так это совершенно точио,— не покривив душой, сознался я.— С меня семь потов сошло.

— А нос белый у кого?— Эрко подошел ко мне вплотную.— Быстро оттирать надо! Дайте помогу.

Он снял рукавицы, зачерпиул пригоршней снег, я обиделся:

— Ты за кого меня считаешь? На себя посмотри!

Эрко спокойно сказал:

— День, однако, морозный будет.— Он приложил горстку снега к своему лицу и стал делать движения, которые сперва было рассмешили меня.

Я все же последовал примеру более опытного человека и вскоре почувствовал, как щеки мои полыхнули огнем.

— Вот теперь смейтесь сколько угодно. Вы стали на нормального человека похожи,— не без ехидства сказал Эрко.

— Ты тоже,— как можно более деликатно ответил я.

Тут уж мы действительно расхохотались. Глянул бы кто-нибудь на нас в эти минуты! Краснощекие, красноносые, мы стояли друг перед другом и не могли унять хохота. Чему мы радовались? У каждого своя была причина. Эрко был, конечно, доволен собой — не допустил того, чтобы гость его на ходу превратился в сосульку. Я, в общем и целом, тоже не сплоховал: вовремя предупредил обморожение, и у кого? У местного жителя! Это тоже что-нибудь да значит. Квиты, одним словом. На равных пока. Эрко был рад, кажется, и этому тоже — молодой не хотел показывать своего превосходства над старшим. Заметив в парне эту черту, я подумал: с таким не пропадешь. Да и почему, собственно, пропадать? Все идет нормально, по заранее обдуманному плану, подумал я. Так и есть. Эрко деловито расстегнул лямочки рюкзака, освободил плечи от ремней, деловито сказал:

— Привал будем делать малый. Но закусить надо — в дороге всегда на еду тянет. Вы заметили?

— Так это ж в поезде, Эрко. Как только сели — так за еду.

— В горах еще больше. И мы, кстати, не «только сели». Давайте так договоримся: через каждые два часа — привал и заправка горючим.

Теперь я, наконец, более или менее точно представил себе, какой нам предстоит «кончик». Но вида, конечно, не подал:

— Через каждые, так через каждые.

Эрко посмотрел на меня испытующе и морально-политическим состоянием моим, кажется, остался доволен. Я и сам придраться к себе пока не мог.

Подзакусив, мы тронулись дальше. Лыжня те-

перь то вертелась зигзагами, то переходила в частую «лесенку». Мы вступили в полосу горного леса. Двигаться стало и легче и труднее. Ветки уже не секли по лицу и рукам, но гора все круче начала набирать высоту, как оторвавшийся от взлетной полосы самолет. Через некоторое время я почувствовал одышку, но опять вида не подал. Растренированность, решил я, и пошел чуть медленнее. Эрко тут же среагировал и тоже сбавил шаг. В какое-то мгновение я заметил, что и он дышит уже не так легко, как вначале. Опять квиты, констатировал я, опять на равных.

Скрывая друг от друга усталость, мы продолжали свой марш. Эрко, однако, все чаще стал оборачиваться в мою сторону. Меня это начинало злить. В один из таких моментов я крикнул ему:

— Ты лучше бы вперед смотрел. Заплутаем, не вернемся засветло.

Эрко остановился.

— Я вам, кажется, говорил уже — в горах я дома. Говорил?

— Говорить-то говорил, но на компас стал почему-то поглядывать. Мы вот по Москве без компаса шагаем, и ничего, находим дорогу.

— Есть москвичи, которые от Старого Арбата до Нового без провожатого не дойдут.

— А ты столицу неплохо знаешь, оказывается!— не без удивления заметил я.

— Армейскую службу под Москвой проходил. В частях ПВО. Там меня компасом и премировали.

— Почему именно компасом?— спросил я без всякой задней мысли.

Эрко, очевидно, послышалась провокационность в моем вопросе.

— Да не собьемся мы с азимута, не волнуйтесь, не собьемся. Два часа прошло?

— Прошло по моим.

— Ну и отлично. Давайте еще один привал делать. Теперь уже не малый — побольше. Пообедаем.

Мы выпотрошили сброшенный с плеч Эрко рюкзак. Среди всего прочего обнаружили провиант, которого Эрко вроде бы не брал с собой.

— Хорошая у меня жена!— воскликнул он.— Ай, хорошая. Даже витамин не забыла.

— Какой же это витамин?— удивился я, подбрасывая на ладони мелко нарезанные кусочки смерзшегося мяса.

— Витамин,— повторил Эрко.— ВБ называется.

Я сказал, что впервые слышу про такой.

— Вяленая баранина. Чем больше человек съест, тем быстрей одолеет дорогу. Только есть надо много и вот так, смотрите.

Эрко, запрокинув голову, показал, как именно надо есть витамин ВБ. Я покорно послушался и уже через несколько минут почувствовал, что силенки во мне, оказывается, еще имеются, не все израсходованы.

— Теперь до Облепихового и обратно хватит. В оба конца,— уверенно заявил я.— Как считаешь?

— Расчет правильный,— согласился Эрко.— В оба конца. Только надо теперь нажимать на педали. Вьюга скоро начнется, чувствуете? Лыжню занесет, заносит уже. Держитесь за мною поближе.

Я пообещал, что не отстану ни на шаг, и мы тронулись дальше. Вьюга, о которой предупредил Эрко и приближения которой я сперва не заметил, через каких-нибудь полчаса действительно нача-

лась. Больше того — с каждой минутой она раскручивалась все сильней, все яростней.

— В горах так бывает,— постарался подбодрить меня Эрко.— Ничего-ничего — и вдруг как запуржит, как завьюжит...

Я предложил укрыться куда-нибудь:

— Вон хотя бы за эту скалу, видишь?

— А вы, оказывается, совсем горец уже,— ориентируетесь правильно. За той скалой сразу другая стоит, между ними — расщелина. Там и переждем.

Через десяток минут мы в самом деле оказались в узком проеме между двумя скалами. Мимо него ветер проскакивал, не успев завернуть, мы получили возможность перевести дух и подумать. Я спросил Эрко, надо ли продолжать путь дальше? Не лучше ли воротиться, пока не поздно? Какую часть дороги прошли? Какая осталась? Сколько километров, хотя бы приблизительно, от этого места до Облепихового леса? И вообще, почему мы должны дойти именно до него?

Эрко, прежде чем ответить, помолчал.

— В том лесу во время войны мы, мальчишки, собирали облепиху для раненых. Многим жизнь спасли. Я думал, вам интересно будет. Там, говорят, мраморная доска поставлена.

Мне стало стыдно за мое малодушие, я сказал, что до Облепихового леса мы дойдем, чего бы нам это ни стоило.

Эрко, кажется, оценил мой порыв:

— Я зря не потащил бы вас в такую даль. Хорошо, что вы не ругаете меня.

— Конечно, не ругаю! Мы должны, просто обязаны продолжить наш поход, как только утихнет эта чертова вьюга.

Эрко, помолчав еще немного, мрачно сказал:

— Если поутихнет...

— Как это?— не понял я.— Она что, долго бушевать может?

— Сколько захочет. В горах так бывает. Ничего-ничего — и вдруг как налетит! Потом опять ничего. Если не кончится через час, придется назад поворачивать.

— Ты что!— запротестовал я.— Когда еще попаду в эти края? Меня ж самого в госпитале облепихой лечили — от ран и от язвы какой-то особенной. И не меня одного. Парень рядом со мной лежал. Безнадегой считали. И что же ты думаешь? Через месяц в маршевую отправился! А здесь Монгуш меня разве не облепихой выходил? Облепиховым маслицем. Я вкус его с военной поры помню. Мне перед самим собой будет стыдно, если не дойдем.

Эрко послушал меня, послушал и говорит:

— Схожу, проверю, как там дела.

Он, выкарабкавшись из нашего укрытия, сразу же крикнул:

— Стихает вроде бы, дает нам передышку!..

Я выскочил следом. Эрко пообещал:

— Теперь дело веселей пойдет — крутых подъемов больше не будет. Силенки у нас еще имеются?

Это «у нас» относилось, конечно, ко мне одному, но я не обиделся. Остались, говорю, и про обратный путь найдутся. Давай, жми!

Мы не шли — мчались сломя голову. Опять, правда, нарвались на уже испробованные мною колючие заросли, попали под хлесткие их удары. Эрко как-то ловко от них увертывался, пытался меня на ходу учить, как это следует делать, но тут уж было не до ученья.

Примерно через четверть часа я услышал крик вырвавшегося далеко вперед Эрко:

— Узнал, узнал! Скорей сюда!

— Что узнал?— догнав его, спросил я.

— Узнал поляну вот эту! Теперь мне дорога ясна, не заблудимся!

— Теперь?— удивился я.— А до этого?

— Вам честно сказать?— виновато спросил мой проводник.

— Как считаешь нужным, так и скажи,— ответил я.

— Сбился я раза три уже. Не был тут сто лет, вот и морочил вам голову. Но теперь все в полном порядке. Через час будем на месте.

Так бы оно и было, наверно. Но горы есть горы, Эрко сам, может быть, не знал, в какой степени прав.

Вьюга оставила нас ненадолго. Облетела свои владенья, и снова оказались мы в ее эпицентре. Было такое ощущение, что она только брала разгон, когда заставила нас укрыться в расщелине. Теперь раскрутилась на полную мощь. Тренировка кончилась, началась игра — силовая, жесткая, бескомпромиссная. Игра, по сути, в одни ворота. Два измученных, теряющих силы путника — и взбесившаяся стихия.

Пришлось делать еще один привал. Незапланированный.

— Хорошо!— в полном разладе с логикой прорычал Эрко.

— Куда уж лучше!— рыкнул в ответ я.— Так хорошо еще не было за весь день.

— Ну, во-первых, день еще не весь...

— Во-вторых?— мрачно перебил я.

— Во-вторых, снег и ветер сметают с гор сильный мороз. Начинается оттепель.

— Врешь ты все, Эрик!— я нарочно назвал его по-домашнему, чтоб не сбивать настроения.—

Меня успокаиваешь и себя заодно. Так вот, не надо, Эрик, прошу тебя, не трать времени попусту. День не весь еще, верно, но больше половины прошло. Может, все-таки на сто восемьдесят?

— Нет!— сказал Эрко решительно.

— Ну тогда одна дорога — вперед!— попробовал я найти единственно верный выход из создавшейся ситуации.— Согласен?

— Согласен, только...— Эрик замялся.

— Какое еще «только»? — не без раздражения воскликнул я.— Выкладывай уж все до кончика.

— Опять честно?

— Если можно.

— Не пойму я что-то, где перед, где не перед.

— Ничего себе проводничок! Куда же ты смотришь?

Эрко встрепенулся, но не обиделся, промолчал. Я выругал себя за нервозность. Легче от того мне почему-то не стало.

— Как твой нос?— спросил я, чтобы как-то смягчить свою вспышку.

— На месте,— как ни в чем не бывало ответил Эрко, желая, конечно, дать мне почувствовать — понял мое состояние как надо.— А ваши щеки?

— А шут их разберет! Не о них теперь думать надо.

Эрко согласился, есть заботы и поважнее, но щеки и даже руки и даже ноги мои все же обследовал лично и обследованием тем остался в общем и целом доволен, только заставил меня еще раз умыться снегом. Я в долгу не остался, потребовал, чтоб и он сделал то же самое. После этой операции я сказал:

— В горах ты — дома. Твое слово, Эрко.—

Сказал, разумеется, не без ехидства. Но он опять не обиделся, даже повеселел немного:

— Вот вы смеетесь надо мной, а я в горах действительно дома. Только редко бываю тут. А вы в Москве часто? Тоже все больше в разъездах. Верно говорю?

— Верно, но ты шевели мозгами, а то мы тут околеем с тобой.

Эрко с минуту помолчал, потом твердо заявил:

— Не околеем. Стихает опять, чувствуете?

Ветер в самом деле вроде бы поослаб. Похоже было на то, что метель по кольцу ходит. Нашла себе удобное русло меж гор и вертится по нему как заводная.

— У всякой метели свой характер, свой норов,— авторитетно заметил Эрко,— как, например, у тайфунов в Атлантике. Метелям тоже, по-моему, имена можно давать. Я бы эту «Беркутом» назвал. Так беркут над зайцем кружит, прицеливается.

Я в ответ невесело рассмеялся:

— Кто же мы с тобой? Зайцы беспомощные.

Эрко тоже хохотнул, но совсем не так мрачно, как я:

— Нет, нет, вы не так меня поняли. Раз разгадали ее маневр, какие же мы зайцы? Мы, мы...

Эрко искал подходящее слово. Я, заслоняясь от порывов ветра, ждал, что придумает мой спутник — себе и мне в утешение. Может, в самом деле какой-то выход найдет?

Впрочем, честно сказать, никаких иллюзий у меня на этот счет не было. Короткий зимний день заканчивался. Я мысленно подводил невеселые его итоги. До цели мы, конечно, не дойдем. Да и так ли уж необходимо поглазеть на холодную мраморную доску в Облепиховом лесу? Ее небось доверху за-

несло снегом, как заносит нас в эти минуты? За последнюю эту мысль я тут же, надо отдать мне должное, стал сам себя беспощадно ругать. «Малодушный», «неблагодарный», «трусливый» — были в той ругани далеко не самые выразительные слова. Под вой ветра срывалось с моих губ кое-что и гораздо более самокритичное. Один из образчиков этой изящной словесности рассердил Эрко:

— Только в панику вдаваться не надо, прошу вас. Эрко завел, Эрко и выведет.

— Эрко в горах — дома,— снова невесело пошутил я над своим проводником.

— Дома,— услышал я очередное, невозмутимо-спокойное.— До-ма! А раз так, кушать надо немножко, да?

— Ты же сказал, метель дает нам передышку. Давай поскорее двигать отсюда!

— Быстро покушаем,— повторил Эрко безапелляционно,— но сразу тронемся. Без горючего нам скорости не хватит.

Он решительно еще раз освободился от своего рюкзака, и тут я почувствовал, до какой степени голоден. Заглатывал остатки нашего провианта, не разжевывая, торопясь, но и в спешке успел подумать: какая вчера прекрасная баранья голова была! Только чудики-горожане, вроде меня, не могут оценить по достоинству всех прелестей национальной кухни. Особенно вкусным показался тот спекшийся кусочек, который я положил за щеку, запил вином, но так и не проглотил, слукавил перед хозяйкой.

Рассказать об этом Эрко или нет? Расскажу, пожалуй. И рассказал. Даже о том, как непрожеванное мясо незаметно изо рта вынул.

— И положил, куда бы ты думал? В горшок с фикусом.

Узкие глаза Эрко стали еще уже.

— Ну ты даешь!..

Я насторожился: послышалось мне или он действительно меня на «ты» назвал? Вроде бы не послышалось. Хорошо, очень хорошо, решил я. На брудершафт мы с ним пока не пили, и неизвестно, выпьем ли, а первое «ты» уже есть. У тувинцев, как, впрочем, не только у них, это признак особого расположения. И мне, конечно, захотелось услышать слово это еще раз, причем немедленно. Я задал какой-то незначительный вопрос, Эрко не успел ответить: в горах недалеко от нас, вернее над нами, что-то загудело, заухало — не очень громко, но отчетливо и тревожно. Эрко насторожился, резко закинул рюкзак за плечо и, увлекая меня за собой, бросился в сторону.

— Живей, живей!..— кричал он, но меня поторапливать было не нужно.

Мы не разбирали, куда мчимся. Сейчас важно было одно — как можно быстрее выбраться из опасной зоны, во что бы то ни стало разминуться с лавиной, зашевелившейся в высоте, приготовившейся к броску, готовой в любую секунду сорваться, а может, уже сорвавшейся вниз, набирающей силу и скорость...

III

— Повезло нам с тобой! Первый раз за весь день повезло,— сказал Эрко, когда нам удалось забиться в расщелину, очень похожую на ту, в которой недавно отсиживались во время очередного налета вьюги.

Стало в горах вдруг необыкновенно тихо, покойно. И ветер унялся, и снежная лавина застопорилась, видно, зацепилась за что-нибудь.

Мы медленно приходили в себя, потирая ушибленные места, приводя в порядок свою амуницию, свои мысли и чувства. Первое, о чем я подумал, были слова Эрко «за весь день». Я не мог пропустить их мимо ушей. Совсем недавно он убеждал меня, что до конца дня далеко еще, теперь вдруг пошел на попятную. Впрочем, какое, к лешему, «вдруг»? Имеющий уши слышит, имеющий очи видит. От вьюги ушли, от лавины схоронились, от темноты куда денешься? Короткий зимний день был на самом излете, предупреждал нас, торопил, не давал передышки. Закрутили нас, заморочили эти горы. В довершение ко всему пошел снег — крупный, густой. Стало темнеть — быстро и бесповоротно. Эрко сделал еще одну попытку прийти к оптимистическому заключению:

— Я говорил тебе, потеплеет, и потеплело.

— Снег и ветер мороз с гор сметают?— напомнил я Эрко его формулу.

— Точно! Сметают. Сейчас двадцать, не больше.

— Допустим,— поддержал я его.

— Значит, не замерзнем,— он постучал рукавицей о рукавицу.

— А что все-таки делать будем?

— Думать надо. Эрко все время думает.

Прямолинейность его обезоруживала.

Эрко еще разок постучал рукавицами, призывая тем самым меня последовать его примеру. Я послушался.

— Дальше что?

— Эрко предлагает шалаш строить. Валежник возьмем, да? Вот так поставим,— он сложил рукавицы домиком.— Тепло будет. Переночевку сделаем. Совсем большой привал. Потом долго вспоминать будешь, как ночь провел в горном лесу.

А утром Облепиховый лес найдем, он тут рядом совсем, я его носом чую. И домой засветло вернемся, да?

— Да твоя Оля сейчас небось с ума сходит,— полувозразил-полусогласился я.

— Не сходит. Она знает, Эрко никуда не денется. Вот за тебя, наверно, волнуется, и мне попадет, это точно.

Я спорить не стал.

Эрко снова удовлетворенно хлопнул рукавицами. Через минуту-другую он уже вовсю шуровал в залежах занесенного снегом валежника. Я стал, как мог, помогать ему. Он решительно поддержал:

— Давай, давай, на всю ночь разогреешься. А я еще огонь распалю.

План был единственно возможным и потому начал осуществляться. Во всяком случае строительного материала натащили на три шалаша и на добрый десяток костров. Скоро нам стало не то что тепло — жарко. А Эрко, однако, все не мог остановиться.

— Как это у вас говорят — запас карман не рвет, да?

— Не тянет.

— Правильно. Давай, подналяжем еще. Снег вон редеть начал, вон там луна пробивается, скоро снова начнет холодать.

Он показал мне в ту сторону неба, где, по его расчетам, должен был прорезаться лунный диск. Я внимательно поглядел вверх, но ничего рассмотреть не мог. А Эрко все смотрел и смотрел куда-то вдаль, на склон горы, и вдруг напрягся, замер в настороженной позе, вытянулся во весь свой гигантский рост.

— Чуешь?..— спросил.— Или нет?

— Что чуешь?— не понял я.
— Дымком потянуло...
— Каким дымком? Ты что?
— Дымком, дымком!— упрямо повторил Эрко.

Он сбросил лыжи и одним махом взлетел на ствол полуповаленного дерева, как на лестницу. Я слышал, как хрустели сухие ветви, за которые он хватался, чтоб не упасть.

Через несколько мгновений услышал радостный крик:

— И огонь, и огонь!..

В ту же секунду я оказался рядом с Эрко, на его «смотровой площадке». Он, взяв меня за плечи, постарался как можно более точно навести на цель. Мои глаза слезились от ветра, но вот сквозь слезы, как через линзы, передо мной вдалеке в самом деле раза два сверкнула полоса света. Яркая, манящая. Сверкнула и исчезла. И, сколько я ни всматривался, больше не появлялась...

А Эрко твердил свое:

— Дым! Огонь! Вперед!..

Ломая лыжи, теряя палки, продираясь сквозь колючую проволоку встающих на пути кустов, рванулись мы в ту сторону леса, откуда поманило нас огнем и дымом.

На бегу я думал: почудилось, померещилось. Ни дымка, ни огня впереди, конечно, не было. Мираж, галлюцинация, плод воображения уставших, измотанных людей. Уставших, измотанных, но духом все же не павших,— подбадривал я себя, чтобы не отстать от Эрко. Он, боясь потерять меня, торопил:

— Быстрей, живей!

Хриплые крики Эрко вселяли в меня уже не надежду — уныние. Не дай бог, думал я, простынут легкие у моего напарника. Вот тогда позаго-

раем мы тут так позагораем! Я окликнул его, попробовал урезонить, настоять, чтоб мы вернулись к валежнику и построили шалаш. Эрко слышал и не слышал. Голос его, поторапливавший меня, то удалялся, то возникал совсем близко. Из груди Эрко стал вырываться уже не хрип — чуть ли не лай. Я в недоумении остановился, затаил дыхание, прислушался. Что это? Опять померещилось? Еще один мираж? Еще одна галлюцинация? Нет, не померещилось, не мираж, не почудилось, не галлюцинация. Возгласы Эрко, хриплые, резкие, доносились до меня вперемешку с хриплым лаем собак... Я стал ломиться через кусты с новой силой. Через минуту-другую до меня долетели женские сердитые крики:

— Да кыш, кыш вы! Я вас!..

Исчезнувшая из моих «линз» полоса света снова возникла в них вдруг с такой отчетливостью, что сомнений больше быть не могло: мы у жилья! Горьковатый глоток ворвался, наконец, и в мою грудь и сладко растаял там.

На ярком экране желтого света замелькали передо мной две человеческие фигуры — гиганта Эрко, отбивавшегося от доброго десятка собак, и женщины, тоже рослой, с огромной палкой в руках, продолжавшей командовать:

— Пошли на место! Пошли!

IV

Женщина, угомонив собак и оглядев нас внимательно с головы до ног, поняла самое главное: заблудились люди, замерзли, устали, на ногах еле держатся.

— Давайте в дом! — сказала решительно.

Нас, меня особенно, уговаривать долго не пришлось. Мы вошли, точнее сказать, вползли, потому что дом был не совсем обычный. Только осмотревшись как следует, я понял — мы в войлочной юрте, доверху занесенной снегами. В юрте с узким входом, задернутым шкурой, с небольшим круглым отверстием вверху, с огнем, полыхавшим посредине и отбрасывавшим вокруг зыбкий свет.

Усадив нас у огня, хозяйка, ни о чем не расспрашивая, стала в затененном углу греметь какой-то посудой. Я, сняв рукавицы, вытянув руки к языкам пламени, посмотрел на Эрко. По усталым, глубоко впавшим щекам его бродила едва различимая улыбка, обветренные губы слегка шевелились. Мне показалось, еще мгновение, он скажет: «В горах — я дома». Но на сей раз не сказал, не успел просто — женщина шагнула к нам, поднесла каждому по глиняной пиале — сперва мне, потом Эрко.

Эрко выпил сразу. Я, попробовав, медлил. Непонятного вкуса жидкость остро обожгла мне язык.

— Пей! — приказал Эрко.— Горный чай из овечьего молока. Ну, присоленный немного, ну и что? Мертвых на ноги подымает.

Я, зажмурившись, осушил свою посудину. Хозяйка тут же налила по второй. Эрко снова выпил. Я жестом показал, что больше не могу.

— Ты что?— шепнул Эрко.— На тебе же лица нет! Пей!

Я покорно пригубил пиалу.

Хозяйка между тем продолжала хлопотать вокруг нас. На смену чаю пришел густой духовитый суп в курбатых горшочках.

— Ешь!— подтолкнул меня Эрко.— Тут так

водится — сперва чай, потом обед, потом опять чай.

Я больше не сопротивлялся. Суп есть суп, что может быть вкуснее супа? Особенно если намерзся или устал до чертиков, если ноги и руки твои гудят и все до единого мускула пощады просят. А тут все завязалось в один узел — и «просят», и «гудят», и «до чертиков».

Мы ели за обе, верней, за четыре щеки, поглядывая то друг на друга, то на приютившую нас женщину. Она, не переставая угощать, села напротив, пошевелила угли кочережкой, подбросила свежих дровец в огонь, чтоб теплей и светлее было, снова смерила нас озадаченным взглядом. Рассмотрев как следует нежданных пришельцев, к определенному выводу, судя по всему, не пришла. Отделенные от нее костром, мы были хитроумной загадкой, подброшенной вьюгой. По всему чувствовалось, ее так и подмывало спросить — кто такие? Как занесло вас сюда в такую пору?

Оборванные, изможденные — на кого мы были в те минуты похожи? На Эрко недоуменных взглядов приходилось меньше. Широкоскулое, с узким разрезом глаз лицо его особого удивления, кажется, не вызывало. Меня же черные глаза хозяйки изучали гораздо более пристально. Расспрашивать нас, однако, она пока не считала удобным. Решила сама представиться, тем более что и мы изучающе поглядывали на нашу спасительницу. Кто такая? Что делает тут одна зимой? Зачем столько собак держит? Все это было для меня, по крайней мере, головсломкой.

Но чудес, если разобраться как следует, в мире в общем-то немного бывает. Так и тут все оказалось проще простого.

— Марья Чульдумовна звать меня,— неожи-

данно сказала хозяйка и протянула руку над огнем — сперва мне, потом Эрко.

— Первый раз слышу такое отчество,— откровенно признался я.

— Чульдумовна,— повторила она.— Мать у меня русской была, отец — тувинец. Еще о себе сказать, да?

— Скажите, пожалуйста, Мария Чульдумовна,— подал голос Эрко,— даже мне, местному, и то не все до конца понятно. У меня наоборот — мать тувинка, отец из русских.

— А чего тут понимать-то? Пасем здесь овец колхозных. Пастухи, одним словом. Я, муж мой Шойдан и двое внуков наших, таких вот великанов, вроде тебя,— она посмотрела на Эрко.— Скоро все придут с работы. Еще чего сказать?

— Как попали сюда?— вставил и я словечко.

— Это история долгая. После войны уже, с Шойданом.

— А во время войны?— снова спросил я.— Где были?

— Во время войны на войне,— с достоинством отозвалась Мария Чульдумовна.— На Великой Отечественной. Санинструктором в госпитале. С орденом воротилась.

— Однополчане!— я даже вскочил с места, обрадованно протянул хозяйке еще раз свою пятерню меж языками огня.— Не пропадем, значит.

— Зачем пропадать? — повела плечами Мария Чульдумовна.— У нас в горах свой человек всегда дома.

Эрко, метнул в мою сторону торжествующий взгляд, встал рядом со мной, ждал, когда кончится долгое наше рукопожатие.

— Не обожгись,— сказала Мария Чульдумов-

на, обращаясь к Эрко, когда и их руки снова встретились над огнем.— У нас дрова тут знаешь какие? Сразу после каменного угля идут. Ученый один приходил, рассказывал. Да ты знаешь, вижу, но поберегись все-таки.

В этот миг одно из поленьев «выстрелило», над головой Эрко с шипением пролетела колючая, трассирующая искра. Он успел с шуткой увернуться. Мария Чульдумовна рассмеялась:

— Вот теперь вижу, местный,— она еще раз пошуровала кочережкой в самой середине костра.

Во все стороны юрты полетели желто-голубые звезды, оставляя за собой десятки круто изогнутых, не сразу гаснувших радуг.

— Вот так и живем,— задумчиво сказала Мария Чульдумовна.— Да что же я все о себе да о себе? Вы-то кто такие?

Я решил почему-то пока не услышать вопроса. Эрко был человеком гораздо более эмоциональным, четко отрапортовал:

— А мы, Мария Чульдумовна, писатели. Я начинающий. Он со стажем уже.

— Кто, кто?— не поняла хозяйка.

— Книги пишем, Мария Чульдумовна,— под моим укоряющим взглядом чуть менее бодро повторил Эрко и вдруг осекся.

И в общем-то было отчего: после этого «рапорта» хозяйка поглядела на нас совершенно иными глазами. Они стали у нее еще более узкими, недоверчивыми. Не знаю уж, за кого она приняла нас, но слова Эрко ее явно обидели. Сразу как-то сникла, ушла в себя.

Наступила долгая, неловкая пауза. Разделенные костром, мы время от времени молча посматривали друг на друга. Мария Чульдумовна, закурив

трубку, нам табака не предложила, закручивала сизые кольца дыма одна. Плохой признак, решил я. То же самое подумал, конечно, и Эрко. Во всяком случае вид у него был виноватый. И не без причины. В самом деле, чего было торопиться? Лезть, как на Украине говорят, поперед батьки в пекло. Мне стало жаль Эрко, сделавшего досадную промашку. Но и Марию Чульдумовну понять было можно. Писатели? В такой глухомани? В такую погодку? В таком виде? В такой час? По меньшей мере, маловероятно. Самозванцы какие-то, проходимцы, а то и похлеще того... Леса, горы — мало ли кого сюда занесет!

Выкурив одну трубку, Мария Чульдумовна тут же начала набивать другую. И все молча, молча. И все исподлобья поглядывая на нас через пламя костра.

Сколько так могло продолжаться? Я впервые за весь этот длинный день машинально посмотрел на часы и только тут заметил — они без стекла и стрелок, белый со стертыми цифрами циферблат стал похож на бельмо. Эрко заметил это и, чтобы мне было не так обидно, сказал:

— Мои совсем сорвались где-то,— он показал мне исцарапанное, все в синяках запястье.

— Несем не только моральные, но и материальные потери,— попробовал было пошутить я.

Шутки моей Эрко не понял.

У меня возникло странное ощущение — будто время остановилось не только на моих часах — вообще. Мы застряли на какой-то мертвой точке. На какой? Надолго ли? Что нас ждет впереди? И известно ли в самом деле, где «перед» и где «не перед»?

Мрачноватые мысли эти нарушил лай собак. Тех самых, которые чуть не разорвали нас, особен-

но меня, на подступах к юрте. Теперь они лаяли совсем по-иному — радостно, с повизгиванием, очевидно приветствуя своих. Так оно и оказалось. Мария Чульдумовна поднялась со своего места, подбросила охапку поленьев в начавший тускнеть огонь, и в юрту один за другим протиснулось трое мужчин — два действительно были великанами, третий чуть поменьше, заросший широкой белой бородой. Прежде чем накормить внуков и мужа, Мария Чульдумовна мрачновато объявила им:

— У нас гости...

Все трое, смерив нас короткими взглядами, вежливо поздоровались. Старший, разгребая пальцами смерзшуюся бороду, устало спросил:

— Накормила?

— Чем богаты.

— Хорошо.

Хозяйка принялась потчевать пришедших, мы с Эрко отодвинулись было от костра, чтоб не мешать людям. Глава семейства воспротивился этому:

— Сидите, сидите, всем места хватит.

Ели пастухи проворно и много, по всему было видно — наработались вдосталь. Отара, наверно, большая, забот с нею хватает всем четверым, даже зимой. Зимой, может, даже больше.

Пока мужчины пили чай и шаркали деревянными ложками по стенкам глиняных горшочков, женщина расспрашивала:

— Кошару починили? Под Белым камнем?

— До той руки еще не дошли, мать,— за всех отвечал Шойдан.— С ягнятником еле управились.

— Подпоры поставили?

— Поставили. Чуть самих не придавило. Снег

все идет и идет. Что за зима нынче? Дело к весне совсем, а он валит и валит, ветер дует и дует. Сроду такого не было. Под Белым камнем завтра все справим, если чего не случится. Слышь, собаки воют? Чуют! Сугроб навис такой на самом верху Лысого склона — того гляди обвалится и пойдет. Ну ладно, об этом после ужина, мать. Дай спокойно поесть. Ты лучше об гостях скажи. Кто такие?

Мария Чульдумовна медлила с ответом, непривычное слово никак не решалось слететь с ее губ.

— Ну, чего ж ты?— повторил свой вопрос Шойдан.— Мы имеем полное право знать, кто у нас от вьюги хоронится?— Он посмотрел на внуков.— Так, что ли?

Те молча поддакнули.

— Сказывают, писатели,— произнесла наконец Мария Чульдумовна.

— Кто, кто?..— приложив руку к заросшему уху, переспросил Шойдан.

— Писатели,— повторила Мария Чульдумовна.— Книги будто бы пишут.

Опять наступило молчание — долгое, одинаково тяжкое как для одной, так и для другой стороны.

Мария Чульдумовна вновь закурила, подбросила дров в костер. Пламя взметнулось выше, на несколько мгновений жаркой стеной совсем отделило нас от хозяев. Распаленные желтыми языками огня, лица у пастухов стали бронзовыми, непроницаемыми, как у памятников.

— Надо что-то делать,— выбрав момент, шепнул я Эрко.— Бог знает, что они о нас думают.

— Документов у меня с собой нет,— вздохнул парень.

— У меня тоже. Кто ж мог подумать, что так все обернется? И все же надо как-то выкарабкиваться. И чем скорее, тем лучше. Ты поэт, тебе карты в руки.

— Не понимаю,— признался Эрко.

— Стих сочинить можешь? Хотя бы несколько строк. Все сразу бы на место встало.

Эрко растерянно поглядел на меня:

— Но ведь ни бумаги, ни карандаша...

— Ни пишущей машинки,— съязвил я.— Голова на плечах? Чего еще надо? Давай!

Эрко неуверенно, не сразу, но все-таки внял моему совету. Через какое-то время я совершенно ясно увидел — губы моего акына пришли в еле заметное, беззвучное движение. Высвеченные огнем продолжавшего полыхать костра, они показались мне золотыми в те минуты, просто бесценными, я не сводил с них глаз.

Хозяева же, насмотревшись на нас вдосталь, наудивлявшись ночным пришельцам, вскоре отошли от костра, принялись за свои дела, желая тем самым подчеркнуть — словам нашим не поверили. Я с терпеливой надеждой продолжал посматривать на Эрко, на шепчущие губы его. Он с закрытыми глазами, тихо раскачиваясь у огня, то беззвучно бормотал что-то, то останавливался. Уж не засыпает ли?— испугался я. До стихов ли ему после такого денька?

Но акыну было, оказывается, «до стихов». В какое-то мгновение он вдруг поднялся со своего места, попросил Марию Чульдумовну подойти к костру. Подошли все четверо, встали против нас. Эрко сказал:

— Я вот тут, Мария Чульдумовна, стих небольшой сочинил. Можно прочесть?

— Чего говоришь? — в узких глазах хозяй-

ки сверкнуло недоумение.— Какой еще стих, ты что?

— Какой не знаю, Мария Чульдумовна, не мне судить. Но сочинил. Прочесть можно?— повторил свой вопрос Эрко.

— Давай,— все еще не выходя из своего состояния, ответила хозяйка.

Эрко стал читать. Тихо, просто, без жестов, без модного «подвывания». Я много в своей жизни прочел стихов. Хороших, похуже, гениальных, всяких. Эти были прекрасными. Так мне по крайней мере тогда показалось. Про Марию Чульдумовну. Про подвиг ее воинский. Про орден. Про труд ее, уважения и славы достойный. Про мужа Шойдана и внуков-гигантов. Про нелегкую жизнь в горах и снегах. И все как было и есть, все непридуманное, даже имена всех четверых были названы, начиная со сложного отчества приютившей нас женщины.

Когда Эрко закончил, я посмотрел на пастухов. Они стали вдруг совершенно иными, словно оттаяли. Огонь, полыхавший меж ними и нами, сделался совершенно прозрачным, сквозь него хорошо были видны их лица — из суровых, замкнутых превратившиеся в добрые, пожалуй даже чуть улыбчивые. И не пожалуй — именно улыбка привела в движение смуглые, иссеченные ветром щеки и скулы. Особенно у Марии Чульдумовны — ее невозможно было узнать. Даже незаметная слеза набежала. Быстрым движением смахнув ее, она попросила:

— Читай еще.

— То же самое?— спросил Эрко.

— Да. Только не быстро. Куда так торопишься?

— Я совсем медленно читал, Мария Чульдумовна.

— Читай, пожалуйста. Еще тише, пожалуйста, ладно? Непривычные мы к этому.

Эрко покорно принялся читать снова. Неторопко читал, чуть ли не по слогам выговаривая каждое слово. И все поглядывал то на Марию Чульдумовну, то на Шойдана, то на внуков. Когда закончил, хотел, по-моему, спросить Марию Чульдумовну, понравилось ли? Но вопроса задать не успел. Опередив его, она сказала:

— Читай еще один раз, а?

Эрко смутился:

— Нет, Мария Чульдумовна, больше не буду, боюсь надоесть. А если вам хоть немного пришлось по душе, как воротимся домой, отдам в газету и потом вам пришлю. На память, хотите?

Мария Чульдумовна замахала руками:

— В какую газету! Ты что? У нас в горах все друг дружку знают. Будут потом пальцем показывать. Не-ет, не пойдет зто! Тебя как звать-то, писатель?

— Эрко.

— Ну вот что, Эрко. Сейчас поздно уже, а утром богатыри мои сыщут чистой бумаги — ты спиши нам стишок-то, спишешь? Только не забудь, смотри, до утра еще далеко.

— Не забуду, Мария Чульдумовна. Я стихи свои наизусть помню.

— Верно он говорит?

Вопрос был обращен ко мне. Я подтвердил, что память у Эрко хорошая.

Мария Чульдумовна, отложив свою трубку, повесила над огнем чугунок для того, чтобы вскипятить свежего чаю, опять загремела посудой в своем закутке, мужчины подсели к нам поближе.

— Куда все же дорогу держите?— спросил Шойдан.

— В Облепиховый лес хотели попасть, да вьюга нас закружила,— ответил Эрко.

Муж Марии Чульдумовны понимающе закивал головой.

— В Облепиховый? Отцеда совсем рукой подать. Верст десять, не больше. Но уж больно вьюжно там, больно вьюжно. Там и раньше-то дуло днем и ночью, а после того как Дикий камень сорвался, совсем невмоготу стало.

— Про Дикий камень давно разговоры шли. Значит, упал все-таки? — удивился Эрко.— Давно?

— Давешним летом, во время грозы. Теперь ветер там как на цепи по кругу ходит. С ног сшибает.

— И все же хочу приезжему человеку,— Эрко дотронулся до моего плеча,— показать Облепиховый лес. Место историческое. А он солдат.

— Тогда, конечно,— согласился пастух.— Завтра орлы мои вас проводят. Так, что ли?

Оба парня согласно кивнули.

— Думаю, порядок будет. С такими никакая вьюга не страшна. Но ежели попасть вам в Облепиховый и засветло домой воротиться, встать пораньше придется. Согласны?

— Только засветло, папаша, только засветло!— затараторил вдруг Эрко, вспомнивший, конечно, как беспокоится Оля.

— Тогда — на бок. Время позднее, всем выспаться надо,— решительно заявил глава семейства.— Мать, тащи шкуры. Что-то обратно вон завывает.

Мы инстинктивно глянули в круглое отверстие над костром и увидели, как, подсвечиваемая его пламенем, над самой нашей головой заваривалась густая каша из ветра, дыма и снега.

V

Сон, помню, скрутил меня сразу же, почти мгновенно. Но так же хорошо помню и другое. Где-то среди ночи услышал, как меховая полость, закрывавшая вход в жилище, затрепетала, захлопала. Приподнявшись на локтях, я увидел, как Шойдан вскочил и, покрякивая, покатил к полости опоясанную обручами кадушку, судя по всему, очень тяжелую. Я сбросил с себя мохнатую шкуру, но пастух остановил меня:

— Справлюсь.

Ловко придавив краем кадушки нижний край полости, он подбросил дров в костер. В юрте стало светло.

— А где же народ? — спросил я, не обнаружив внуков Шойдана.

— Какой тебе народ? Вот Чульдумовна, вон Эрко храпака дает, вот ты да я, да мы с тобой.

— А молодые?

Он усмехнулся полусонно:

— Молодым не сидится на месте. К соседям ушли. Скоро явятся. Тут недалече.

— К каким соседям? — удивился я.

— Ты лыжи сломал? Сломал. И Эрко твой. На чем домой топать будете? Вот за лыжами и отправились. Отоспятся завтра.

— Да вы что, папаша? — воскликнул я. — Мы бы так, как-нибудь...

— Папаша, папаша, — не зло передразнил меня Шойдан. — В горах «как-нибудь» не бывает. С горами не шути.

Он помолчал и добавил:

— А еще они должны до Облепихового леса дорогу проторить. В ночь кругом обвалы пошли. Слыхал небось?

Я сказал, что ничего такого не слышал.

Он повторил:

— Пошли. Но ты не боись, все будет, как надо.

— Уверен,— соврал почему-то я.

— Ну тогда давай соснем малость.

Он лег, натянул на себя шкуру, но спать не стал — через несколько минут я увидел на войлочной стенке юрты, как на экране, отраженную огнем руку пастуха, снова подбрасывавшую поленья в костер. Фокусное расстояние от костра до стенки было таким, что рука казалась огромной. Такими же были и поленья... А может, я уже сон видел в те минуты?

Я не слышал, как воротились «от соседей» внуки Шойдана, как проснулась и закурила трубку Мария Чульдумовна. Тень от трубки была длинной — во всю стенку юрты — это я, пожалуй, уже наяву видел. Точно, наяву — даже горьковатый дымок табака защекотал горло. Вид у Марии Чульдумовны и у ее домочадцев был невеселый, расстроенный.

— Лыж не достали?— спросил я, но догадка вышла неверной.

— Достали,— успокоил меня один из парней.— С лыжами как раз порядок полный. Самоходы!

— Не успели до Облепихового дойти? Да?

И тут интуиция подвела меня.

— Успели, как не успеть?— услышал в ответ.— Час туда, час обратно.

— Что ж случилось тогда. Чего вы все приуныли? Устали здорово, намучились из-за нас? Сколько мы вам хлопот принесли! Не знаю, чем и как отблагодарить вас...

Мою тираду строго остановила Мария Чульдумовна:

— Стих у вас хороший, а мысли плохие. В Облепиховом лесу все дело. Дорога к нему закрыта.

— Как закрыта? Почему? Внуки ж оттуда только вернулись, так?— спросил я.

— Все так,— сказала хозяйка.— А для вас пути нет: под обвалом Облепиховый. Они до самого верху дошли. Над горой вторая гора висит — из снега. Ясно?

— Вторая гора,— подтвердил один из внуков.— С часу на час поползет. Нельзя вам туда.

— Что делать будем?— растерянно спросил я Эрко.

За него ответила Мария Чульдумовна:

— Все будем делать, что положено. Завтракать будем. Эрко будет стих списывать — бумага приготовленная. Потом соберем вас в обратный путь.

Я посмотрел на Эрко. Он объяснил, что план у Марии Чульдумовны, к сожалению, правильный. Если к Облепиховому никак не пройти, стало быть надо восвояси собираться. Ну, а перед тем как двинуться, заправиться само собой просто необходимо.

— Жаль,— сказал я.— Очень жаль, что не сможем побывать в том лесу. Распалил мое любопытство, а теперь на попятный?

Эрко признался, что он во всем виноват. Проводником был никудышным, много верст вчера лишних дали, но дело в общем-то поправимое, никуда он от нас не денется, этот Облепиховый лес.

— Приезжай к нам летом или еще лучше под осень — полный порядок будет. А сейчас давай завтракать — нас уже ждут, смотри.

Мы сели к полыхавшему во всю силу огню.

— Все как вчера будет, учти,— сказал Эрко.— Сперва чай, потом бараний суп, потом снова чай.

Так или, вернее, почти так все и было. Почти, потому что в самый разгар трапезы появилась на горизонте запеченная голова барашка и в дыму поплыла сразу ко мне. Фикуса рядом не оказалось. Но я вдруг поймал себя на мысли, что начал помаленьку привыкать к местным обычаям, входил постепенно во вкус.

Когда завтрак был закончен, а стихи Эрко «списаны» на лист белейшей, неизвестно откуда взявшейся тут бумаги, началась примерка лыж. Это последнее действо продолжалось недолго — крепления «самоходов» так ловко устроены, что подогнать их под любую ногу — дело минут.

Мне стало даже чуть грустно оттого, что все так быстро шло к финишу. Поворачивался не спеша, еле-еле. Эрко же, с учетом вчерашнего опыта, обеспокоенно поторапливал:

— Не выспался, да? Ничего, сегодня всласть отоспимся!

Заметив, что даже заманчивая перспектива эта не прибавила мне «динамики», Эрко сказал:

— Им еще надо обратно вернуться, учти.

— Кому?— не понял я.

— Кому, кому! Богатырям, как ты их окрестил. Они ведь провожать нас пойдут до самого дома, увидишь.

— Ни в коем случае!— категорически запротестовал я.— Ни в коем! Что мы, дети малые?

— Я думаю, возражать бесполезно,— спокойно, но твердо ответил Эрко.— Поняли, какой из меня проводник, подстраховку устроят, уверен. Да и лыжи дали нам не свои, значит, возвратить должны, теперь понятно?

— Теперь да,— согласился я и стал двигаться проворнее.

Минут через двадцать мы, распрощавшись с Марией Чульдумовной и Шойданом, сопровождаемые их внуками, двинулись в путь.

Братья шли впереди. Теперь передо мной целых три богатыря было. Лыжня после них доставалась моим «самоходам» глубокая, укатанная. Метель хоть уже не такая яростная, но все время набрасывалась то спереди, то сбоку, то сзади. Замести лыжню, однако, не поспевала и поспеть не могла. Мы шли ходко, уверенно, без задержек. Даже проламывались через кустистые заросли не с такими трудностями, как накануне. Привык, закалился, думал я про себя. А они вообще народ вон какой бывалый, опытный. Даже сплоховавший было вчера Эрко сегодня нравился, по-моему, не только мне, но и самому себе. Сквозь порывы ветра то и дело слышалось его бодрое:

— Жми на все педали!

Так бы вот идти нам и идти, так бы катить и катить. Но всему, как говорится, свой край приходит. Часа через два шедшие впереди вдруг остановились, да так резко, что мы с Эрко наскочили на них.

— Привал?— спросил я.— Привала устраивать не надо, мы не устали. Да и дорога под горку пошла.

— Надо,— сказал один из братьев.— Минут пять отдохнем и будем прощаться.

— Дальше не пойдете? Ну и правильно!— воскликнул я.— Тут уж мы не заблудимся в любую метель.

— Дальше он вас поведет,— уточнил свою мысль один из пастухов и положил руку на плечо младшего брата.— Мне, однако, возвращаться по-

ра. Старики там сами не управятся в такую погоду. Они под Белым камнем сейчас. Кошару латают. Вдвоем не сладить никак, там и четверых-то мало.

— Тогда возвращайтесь оба и немедленно!— Я решил взять инициативу в свои руки.— Слышите? Сию минуту!

— Командиром этого отряда дед меня назначил,— твердо, хотя и с улыбкой ответил старший из братьев.— Командовать буду я. Он вот проводит вас до самого дома. А это с собой возьмите, бабуля велела.— Он вручил мне и Эрко какие-то свертки, тщательно укутанные в тряпицы и перевязанные бечевой.

— Что это?— спросил я.

— Так, на память о лесе, в который попасть не смогли.

— Нет, нет! Спасибо, возьмите обратно, при ваших морозах вам скорее сгодится... Мы непьющие,— попробовал было запротестовать я.

— Бери!— категорически перебил меня Эрко.— Масло это. Облепиховое. Понял? Ангиной теперь болеть никогда не будешь. Я беру.— Он решительно затолкал свой сверток за пазуху.

Мне пришлось подчиниться. Мы расстались с одним из братьев, крепко пожав ему руки.

А еще часа через два распрощались и со вторым — в низине показались первые, курившиеся дымком домики Кызыла, где нас ждали, где о нас волновались.

Вот и вся нехитрая эта история. Нехитрая, теперь уже давняя, но вспоминаю ее до сих пор. Во всех подробностях.

И все дышит горячим своим дыханием, полы-

хает передо мной тот костер в занесенной снегами юрте Марии Чульдумовны. И все видятся мне через трепещущее его пламя озаренные, словно вызолоченные, смугловатые, обожженные морозом и ветром лица пастухов, охотников и поэтов. Лица тех, с кем свела тогда судьба. Свела совсем ненадолго. С одними всего на несколько коротких дней, с другими и вовсе на несколько часов. Жаль, что пролетели, промчались те дни, те часы так быстро, так неостановимо.

Жаль...



СОДЕРЖАНИЕ

Для детей среднего и старшего школьного возраста

Виктор Петрович Тельпугов

УПРЯМАЯ ЛАМПА

Редактор **К. К. Покровская**
Художественный редактор **М. В. Таирова**
Технические редакторы **Е. В. Кузьмина, Л. А. Фирсова**

ИБ № 7324

Сдано в набор 21.04.88. Подп. в печать 13.09.88. Формат $70 \times 100/_{32}$. Бум. офсетная № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр.-отт. 24,38. Уч.-изд. л. 10,91. Тираж 100.000 экз. Заказ № 1141. Цена 65 к. Изд. инд. ЛД-179.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.




Советская Россия
65 к.